

Н.В. САНЕЕВ. ПОДЕЛИСЬ, И ТВОЕГО НЕ УБУДЕТ

Москва
Издательство «Современник»
1988

Лежит на ладони аппетитно пахнувший, до щекотки в ноздрях, закопченный слиток. Совсем вроде маленькая рыбеха, а руку тяжелит.

Рыба-кабан... Надо же было ученым придумать такое название. Любопытно, по каким же это признакам так назвали ее? Может, по отдаленному внешнему сходству? Спинное плавниковое оперение и впрямь смахивает на щетину дикого кабана. Так же топорщится, и такое же жесткое. Рыбообработчикам от него сушая беда. Как ни осторожничай — руки ранятся. И плотно на противни без навыков не уложишь — плавники мешают. Из-за них промысловики даже от привычной технологии обработки отступили.

При обработке других пород рыбы существует одно правило: чем быстрее улов попадет из трала в морозильные камеры, тем больше надежд на качество продукции. Передержали чуть рыбу, и уже чешут судовые технологи затылки: куда ее, как из передержанного сырца вытянуть качество.

С рыбой-кабаном же поступают наоборот. Свежий улов не спешат подавать в завод. Переливают его из трала в «карман» — есть такой отсек на кормовой палубе. Пусть там отпляшетя, попривянет малость и утратит колючую ершистость. Такую легче плотнее в противни укладывать. А это ох как важно на промысле. И холод в камерах экономней используется, и расход ящичной тары меньше, и трюмы больше готовой продукции вмещают.

А может, ученые, давая такое название, вовсе и не имели в виду этот внешний признак? Уж если искать сходство с тем же кабаном, так оно, скорее, в жирности этой маловыростковой, одна в одну, рыбешки. Копченный балычок из нее — ну чистое сало, только не свежее, а давнишнее, тронутое желтизной. Все больше и больше становилось поклонников балычка из рыбы-кабана, за которой почему-то не закрепилось в народе первоначальное название и утвердилось другое — пристипома. Только-только массовый потребитель во вкус вошел, рыба эта стала покидать витрины магазинов...

А сколько же ее было!... И с каким трудом пришлось пристипоме пробивать себе дорогу на прилавки! Пожалуй, ни одной рыбе не довелось утверждаться как деликатесной продукции так трудно.

Шум, поднятый вокруг нее в конце шестидесятых годов, чем-то напоминает такую же напористо долгую кампанию против узких брюк. Только масштабы пристипомной эпопеи были не те: в нее были втянуты лишь заинтересованные круги — рыбохозяйственные, торговые, снабженческие организации всех рангов, ученые, медицина. Зародился бумажный вихрь далеко-далеко от столицы, куда какое-то время спустя постепенно переместился эпицентр борьбы.

В районе Гавайских островов, в трехстах милях от них, промысловики открыли богатейшие, неисчерпаемые, как тогда казалось, запасы незнакомой до этого времени рыбы. И хлынул в этот район флот со всего света. А самый мощный — японский. И наши, дальневосточники, туда же. Отыскивались банка за банкой. Придумывались тут же названия им. Появились и русские: «Колхозная», «Первомайская», «Академик Берг», «Карандаш». Переходишь от одной к другой — и кажется, не за тридевять земель находишься, а попадаешь с улицы на улицу в своем городе.

Пристипому первое время не ловили, а черпали. В буквальном смысле этого слова. Об этом подробно сказано будет дальше. Черпали и не оглядывались. Жарили, парили,

расхваливали. Кто-кто, а промысловики толк в рыбе понимают. Зря хвалить не станут. Есть — тем более.

Пришли во Владивосток первые перегрузчики с пристипомой, и тут — стоп! Рачок обнаружили. Приспособился паразит по-чуждому. Не так, как у всех рыб, в брюшке. Там выкинул внутренности — и делу конец. А здесь рачок от спинки ближе к анальному отверстию, до самого позвоночника сверлит себе дырку и питается, тунеядец, за счет рыбы. На определенной стадии он выпадает, отверстие зарастает, но в теле остается темное пятнышко. Или дырочка, будто на гвозде рыба висела, вялилась.

На одних рыбаках обнаружили эти злополучные «посторонние включения», а на других — лишь пятна от них. Этого еще не доставало! На моем веку всякое было. В середине шестидесятых годов такой же шум поднялся вокруг калянуса — тоже мелкого рачка, сельдь им питается, когда жировать начинает. Браковали рыбу напропалую. Камчатский драматический театр даже спектакль поставил. «Берег» — так назывался спектакль. Автор пьесы Владимир Космачевский калянусную проблему стержнем в пьесе сделал. Вокруг этой проблемы все страсти на сцене кипели: брать селедку с калянусом или не брать?

Сельдь перевелась, меньше стало ее, и про калянус — как воды в рот набрали. Спектакль же еще раньше отжил. Всего-то сезон и продержался, как артисты ни старались продлить ему жизнь: камчатского замеса спектакль. Да только тут одними стараниями не возьмешь, если стержень-конфликт, на котором пьеса держится, сам по себе хлипкий, недолговечный, От сырых дров нельзя ждать большого огня.

Потом на свет вылезли мехповреждения сельди. Это когда при выборке из сетей рыба повреждена. Скажем, жабры у нее надорваны. Ушли в прошлое и мехповреждения, теперь вот появились включения. И закрутилось колесо. Вредный рачок для человеческого организма или не вредный? Вопрос зловеще повис над промысловиками. Но ведь у Минрыбхоза свои лаборатории, свои ученые. Определили — не вредный, даже если нечаянно и попадет рыба с этим самым мороженым и перемороженным рачком на сковородку. Бактериологи подключились, анализы сделали. И тот же вывод. Криль, пищу китов, употребляем же за милую душу. В сыре, в других продуктах.

Словом, доказали рыбаки и медики: ни включения рачка, ни следы от них никакого вреда для организма не представляют. У разных сбытовых, торговых организаций свои лаборатории, свои эксперты и требования. Заключение рыбаков они приняли в штыки. И пошло-поехало. До Министерств рыбного хозяйства и торговли докатился бумажный вихрь.

А их кто помирят? Только главный санитарный врач страны. И тот рассудил: годится.

В общем, пока кипели страсти, холодильники во Владивостоке и Находке затоварились рыбой. На рейде неделями торчали перегрузчики с забытыми до отказа трюмами. Чуткий обыватель быстро уловил эту заминку и пошел разносить всякие были и небылицы. Прислушался, наострил уши и покупатель. В основном, местный, дальневосточный. На запад молва не успела быстро просочиться, как не всюду, не во все магазины просочилась и сама рыба.

Топчется дальневосточный потребитель у рыбных витрин, подозрительно косится на заморское чудо с замысловатым названием. И соблазн велик отведать, говорят, вкусная рыбка, и из головы другая молва про какой-то опасный рачок не выходит. С одной стороны, дыма-то без огня не бывает? А с другой: кто бы разрешил ее продавать, если бы...

Осторожничает непросвещенный покупатель, тормозит сбыт и, сам того не подозревая, подливает горючки в костер страстей, разгоревшихся вокруг этой проблемы. Кроме всех прочих, теперь и этот аргумент взяли на вооружение

антипристипомники: «Не идет рыба в реализацию!» Это вместо того, чтобы опередить обывателя, растолковать умненько людям, что к чему.

Хотел перефразировать известную поговорку: на берегу дерутся, а у рыбаков чубы трещат — да передумал. Какое там чубы! При такой-то духотище в этих широтах! Все под нулевку разделаны: еще на переходе со своими патлами расстались. А вот нервы, как веревки, покрутили промысловикам все эти береговые утряски, увязки, согласования. Первый удар нанесли технологи. Поступило строгое указание пластовать пристипому. Иными словами, разделять ее так, чтобы не оставалось ни рачка, ни следа от него. О, ужас! Да это ж сколько нужно людей, чтобы обработать таким образом каждую рыбину?! А план, а обязательства? А если эти треклятые рачки побывали далеко не в каждой рыбине?

Но надо же было как-то сдерживать этот мощный серебристый поток, обрушившийся на рыбные порты на растерявшиеся торговые организации. И сдерживали. Как могли. Намеренно и нехотя. Недоставало перегрузчиков для своевременной отгрузки продукции. При длительных стоянках в ожидании перегруза рефмашины на судах не могли выдерживать в трюмах нужный температурный режим. И на этой слабой струне промысловиков играли сбытовики. Опять же ради сдерживания потока. Технологические циркуляры требовали понижения температуры в теле рыбы при ее заморозке. А иначе?...

Не надо настораживаться. Вся продукция все равно принималась. И хоть с перебоями, но вывозилась. На перевалках или уже на местах сбыта часто переводилась в нестандартную. А рыбопромышленные предприятия знай получали со всех концов страны рекламации и минусовали из вероятных прибылей сотни тысяч рублей.

По другому пути пошли рыболовецкие колхозы. Они использовали на добыче пристипомы единицы большого флота. А значит, и рекламаций меньше, и адресов, откуда они поступали. К тому же колхозы проявили большую агрессивность в отстаивании своего колхозного добра. Во все города и веси, откуда поступили рекламации, правления снарядили своих ходоков. К этому времени острота проблемы, годна пристипома для употребления в пищу или не годна, вроде спала. Ходоков предусмотрительно снабдили нужными документами. Не скупилась расчетливые руководители колхозов и на финансирование возможных деловых переговоров и встреч своих широкополномочных ходоков.

И точно, одним удавалось возвращать мороженую пристипому из стандарта, другие сами возвращались в колхозы ни с чем. Доказать, что рыба есть рыба, а не копытное животное, тоже нужно иметь талант. Ну, может, и не совсем талант, а, как ныне говорят, на худой конец, пробивной силой надо обладать.

Мне довелось беседовать с таким пробивным ходоком из камчатского колхоза им. В.И. Ленина — самого крупного рыболовецкого хозяйства в стране. Молодой парень, обаятельный, скромный. Ничего в нем от тех деловых людей, о которых у нас сложилось определенное представление. Спустя некоторое время его взяли работать инструктором горкома партии. Ходоком он оказался на редкость везучим. Вел он небезрезультатно переговоры в Москве, Ногинске, в других городах страны.

— А больше всего запомнилась мне встреча в Ленинграде, — рассказывал колхозный ходок. — И так и эдак заходы делал — не поддается директор торга. Я ему свою квитанцию: вот же, мол, черным по белому написано: рыба принята от колхозного судна первым сортом. А он мне свою. В ней тоже черным по белому — считать по таким-то причинам непищевой.

Достал я этой «непищевой» в этом же торге несколько килограммов и — в ресторан «Нева». Приготовили мне пристипому в разных видах так, что пальчики оближешь. Подался с этим кулинарным творчеством снова к директору торга.

Ну, думаю, уж против этого не попрешь. А он, выслушав, похлопал меня снисходительно по плечу и говорит с ехидненькой, как мне показалось, улыбочкой:

— Зря колхозные деньги растратил, молодой человек. Зашел бы лучше ко мне домой. Да отведал, как моя супруга готовит. Во рту тает. А ты в ресторан подался.

Вот так откровение!

— Так за чем же тогда остановка, если сами едите? Где здравый смысл?

Пожал он плечами, губы скривил насмешливо...

— В бумагах смысл нужно искать, молодой человек. В документах. Сочли нужным эксперты перевести эту партию рыбы в нестандарт, обосновали заключение. Мое дело руководствоваться заключением специалистов, — развел руками директор торга.

Ах, думаю, так. Разумные всякие доводы, жалость к добру народному, казенная твоя душа, тебя не волнует. Тебе бумажку подай. Хорошо, подам. Посмотрю, что после этого запоешь.

Тут и пошли мы, как в карты, с ним документами перебрасываться, Я ему один козырь — копию письма главного санитарного врача страны. Он его побил запросто и не моргнул. Это, говорит, вообще заключение о том, что рыба для употребления в пищу годна. Ну а кто возражает против этого? Кто? Я, например, сам вам признался: прилась она моей семье по вкусу. И что из этого? Речь идет о конкретной партии рыбы, поступившей в наш торг и переведенной в непищевую.

Не теряю надежды. Извлекаю из кармана еще один козырь — письмо заместителя министра рыбного хозяйства. Передаю ему. Бегло пробежал директор торга письмо и вернул его мне. Откинулся в кресле, полузакрыв глаза, призадумался.

Ну, думаю, припер его к стенке. А он вздохнул тяжело, не спеша выдвинул ящик в столе, нашел какую-то бумагу и молча положил передо мной. А сам скопился выжидательно.

Читаю, и буквы в глазах скачут. А последняя фраза совсем сразила. Дословно не запомнил, но смысл ее такой: письмо заместителя министра рыбного хозяйства за номером таким-то не считать руководством и так далее. И подпись: заместитель министра торговли.

Все опустилось во мне. Даже обмяк как-то. Последняя моя карта бита. И голову боюсь поднять от стола, страшусь увидеть торжествующее лицо директора торга. Решился все-таки, взглянул. А он улыбается как-то совсем по-доброму.

— Ну, что будем делать, молодой человек? — говорит мне участливо. — Если подходить формально, тут все, как видишь, ясно. Обнаружили, пусть даже в одном ящике, как его, будь оно неладно, включение, и всю партию в брак. Кто ж это станет каждый брикет просматривать? Сами ящики стандарту не соответствуют — опять брак. Температура в теле рыбы оказалась невыдержанной — снова правы наши эксперты. А где, на каком этапе прохождения продукции от вашего судна к нам потерялась температура, — это уж пусть голова у колхоза болит. Так ведь? А посмотреть с другого боку... Жалко, понимаешь ли, такое добро переводить на... И тебя, откровенно, обижать не хочется. Вон откуда, с краю света приехал. И выходит, зря старался доказывать. Мало того, что на рыбе колхоз много потерял, так еще на твои бесплодные похождения сколько денег ушло. А тут еще ресторанные издержки, — намекнул с иронией насчет «Невы».

— Короче, так, — прихлопнул он решительно ладонью по столу. — Учитывая все это и плюс слабость моей семьи к вкусной рыбе, пустим всю вашу партию вторым сортом. Не по-твоему чтоб и не по-моему, — подмигнул дружески. — Идет?

Сначала рассказ ходока мне показался байкой. С горьковатым привкусом, но байкой. Поехал в колхоз. Сверился по документам. Все верно. Большая часть пристипомы, сданной согласно квитанциям первым сортом, действительно побывала, опять же согласно документам-рекламациям, в нестандартной. Потом снова вернулась в пищевую. Вот метаморфозы, вот манипуляции! И что удивительно, все кругом верно, все по закону.

Но это же какие-то крохи, подумалось мне. Не могли же все рыбодобывающие предприятия своих ходоков по стране рассылать. Их бы тысячи потребовалось.

Ну, а как обстояли дела там, на промысле? Там первые два года оставались острыми все те же проблемы: передержки добывающих судов с готовой продукцией в ожидании перегрузчиков.

Повторяюсь, остановки за выловом не было. Черпай сколько угодно. Но возможности заморозки ограничены — сорок, ну максимум сорок пять тонн в сутки, больше не заморозишь. Да еще при тех жестких требованиях к температуре рыбы в теле.

В своей книге «Соленый лед» писатель Виктор Конецкий образно выразился: «Корабли плавают в густом и жирном супе». Это он об Атлантическом океане, где, как у него сказано: «Имеется органического вещества в двадцать раз больше мирового урожая пшеницы в год». Тихий же куда богаче. А что бы сказал Конецкий о супе в районе промысла пристипомы? Судовые туковарки работали так, только что железо не плавилось. Жировые ручьи споро заполняли танки. А танкеров для отгрузки продукции недоставало. И траулеры плавали в жиру...

Позже постнее стал океан и в этой своей точке. Миф о неисчерпаемости банок развеялся так же быстро, как развеялся он и о бесконечных запасах сельди, ряда других пород рыбы. И негусто стало пристипомы на банках, и ведет она себя как-то совсем уж загадочно. На два года, считай, совсем исчезла, будто ее никогда и не было.

Те же экипажи судов, что ловили здесь раньше, безнадежно утюжили банки и, возвращаясь в порты, привозили вместо рыбы одни загадки и предположения. И что особенно любопытно — никому из промысловиков не удавалось увидеть малька пристипомы. Вся рыба — половозрелые особи, как говорят ученые. Одна в одну по размеру. А где нерестится, где нагуливается, откуда приходит на эти банки — тайна.

Думали поставить на этом районе лова крест. Ан нет, в 1973 году снова урожайная вспышка, чуть ли не как в лучшие времена. Снарядили экспедицию в следующем году — и даже бывшие рекордсмены по вылову пристипомы прогорели. И характер самого промысла изменился. Слово «черпать» выпало из рыбацкого лексикона. Надолго ли? Не навсегда ли?

Сама по себе отпала и жировая проблема. Нечего откатывать в танкеры. О затоваренности холодильников этой рыбой тоже не могло быть речи. В рыбных портах для перегрузчиков, прибывших с пристипомой в трюмах, — зеленая улица. Суда с другой рыбой в сторону, а эти — под разгрузку. Вне всякой очереди. Ждет потребитель теперь уже деликатесную пристипому и не дождется. Ну и, конечно, при возникшем неблагоприятном балансе пищевой и непищевой рыбы делала пристипома погоду в экономике предприятий. Разумеется, когда она ловилась. Пока ловилась. Мне не хотелось упускать это «пока». Стал нетерпеливо ждать, когда подвернется случай...

* * *

За полночь большой морозильный траулер «Сероглазка» снялся с рейда. Еще не выстудилось на губах тепло поцелуев родных, любимых, еще апрельский ветерок, обдавший лица на выходе из ворот бухты океанской свежестью, не успел развеять слова напутствий, еще не отпустил, держал в оцепенении психологический паралич последних прощальных минут, какой бывает у всякого человека, покидающего надолго родное, до боли близкое, а уже по судовой трансляции раздалась команда:

— Электромеханику и дежурному электрослесарю на кормовую палубу!

И остаток ночи, и до полудня следующего дня судовые светила — электромеханик Виктор Фомичев со своими помощниками — колдовали над главной лебедкой. Ее так и не успели колхозные судоремонтники довести до состояния «товсь».

А на мостике уже в нетерпении толклись у эхолота капитан Пономарев и старпом Чекутов.

«Когда же там наладят лебедку? Чего так долго ковыряются», — морщась, ворчал Пономарев. Но тихо, будто сам с собой разговаривал. Это когда он разойдется, да еще если свое недовольство кому-то адресует или поддержки ищет — совсем по-другому ворчит. С надрывом. И рыдающие интонации в голосе. Только-только не всхлипывает. Будто не он кого-то отчитывает, а его обидели.

Зато Чекутов с ходу вошел в свой репертуар. Еще когда я поднимался на мостик, судовой доктор Анатолий Каптеров заметил: «Евгеньевич, наверное, там уже завелся и искры рассыпаются. На вахте он нашпигован эмоциями, как бенгальскими свечами».

Каптеров угадал. Чекутов в самом деле уже успел «завестись». Он рывком, будто на что-то колкое наступал, срывался с места и мчался от эхолота к двери мостика по левому борту. Открывал ее, кричал в пространство: «Что вы там!» Резко хлопал. Мчался назад. Шаги крупные, пружинистые. Голова вперед. Горб, как у кошки при обороне, в дугу выгибается. Да еще рубашка это сходство усиливает: всегда колом торчит на спине. И не от того, что парусит при его стремительных бросках. Нет. От худобы топорщится.

На голове жесткие, как щетина, клочья волос цвета вымоченной затяжными дождями соломы. Торчат во все стороны. Даже спереди не прилегают ко лбу, а козырьком выгнулись. Зачесывай их направо, налево — все равно пружинисто выстреливают каждой волосинкой на свое место.

Много позже, уже когда был на берегу, на площади, в центре колхоза, увидел и его, Чекутова, фотографию. Подивился: как же это мог чудодей-парикмахер прилепить ему неподатливые волосы ко лбу, чтобы не торчали.

От нетерпения, в какой уже раз запросив корму, скоро ли закончат возиться с лебедкой, Чекутов, наконец, вроде успокоился у эхолота. Влип глазами в ленту. Длинные худые руки вдавились в бока. Надолго ли притих?

— О-о,— дергается на месте, будто ток через него прошел. — Пошла, пошла! Запись-то, запись какая, а?! Непревзойденная! Давай, давай, голубоглазый! Пишишь, мой чаленький! Ух, как я тебя! Уу-мм, — вытягивает губы и смачно чмокает воздух.

И все в нем приходит в движение. Костистые пятерни уже на груди. Растирают ее яростно. словно горячий картофель застрял внутри, и он руками помогает прогнать его дальше.

— У-у-ух ты, опять пошла,— снова дергается Евгеньевич. — Непревзойденнейшая запись!

Молчавший до этого Пономарев нехотя открывается от фишлупы. Он к этим бурным всплескам старпома привык и на них особо не реагирует. Чекутов начинал на «Сероглазке» с четвертого штурмана. Азартный рыбак. Хваткий. Но слишком уж горяч. И прямолинеен. Чуть что — волосы дыбом. Слова вылетают раскаленные, кажется, и обжечься можно. Выпалит разом заряд, без передышки, выскочит из ходового мостика, дверью выстрелит — и такая вдруг тишина воцаряется. Не успеют еще переварить услышанное, оскорбиться, а он уже снова на мостике. Виновато притихший.

Пономареву часто с ним схватываться доводилось. Иногда мысли закрадывались: «И зачем мне это нужно?... Тут и так вся работа на нервах, да еще с ним...» Но он тут же подавлял в зародыше такой настрой мыслей. Глушил его другим: «В море надежнее с таким. Хоть психом нафарширован, зато весь напоказ. Выскажется, как заядлый курильщик утром откашляется. Все из него вон».

— Ну-ка, вокруг чего ты тут ахи развел? — придвинулся Пономарев к эхолоту. Всматривается изучающе. По привычке рука тянется за ухо, и пальцы, механически нащупав мочку, начинают ее «раздаивать», как тугой коровий сосок.

— Обычная минтаевая запись,— равнодушно роняет Пономарев. — Тоже еще, нашел... непревзойденную, — передразнивает скисленно.

— Ну как же, Анатолий Андреевич! — возражает старпом, но так, лишь бы не молчать. Срывается с места и мчится на крыло мостика. Нюхнул свежего воздуха; будто там, на ходовом мостике, ему душно было от затянувшегося бездействия, и в несколько прыжков снова очутился у эхолота. Посмотрел, произнес подавленно:

— Ку-ку. Нету голубоглазого... Это же не запись, а так... Плевок судьбы...

Да-а, к таким чекутовским перепадам в настроении привыкнуть нелегко. Как на качелях человек. До отказа вперед и вверх, и так же до отказа назад. Но только бы не состояние покоя, неподвижности. Он и слушать-то не умеет спокойно. На слово реагирует всем своим существом: резкими хлопками в ладшки, пристукиваниями по коленям, притопыванием. Вскидываются плечи, мечутся глаза, вспархивают бабочками белесые брови. И все эти жесты пересыпаются междометиями: короткими, будто холодной водой неожиданно его окатили: «Ой!» и «Ай!», протяжными «Ну-у?», «Ага-а?», выражающими крайнее удивление. Только крайнее. Он и тут на качелях... Ничего вполчувства, вполнакала, вполголоса...

Доклад с кормы разряжает атмосферу на мостике:

— Можно пробовать. Лебедка в норме.

— Ой! — ужаленно вскрикивает Чекутов. И как на последнем вздохе: — Наконец-то!

С полудня, в день выхода на промысел, со слипа сполз в бурлящую от винта воду трал. Скликающе заговорила лебедка, звякнули, освободившись от стопоров, доски, плюхнулись за кормой и поглотились темнотой океана. На зов лебедки из кают потянулись к промысловой площадке рыбаки. Промысел начался!

Пробный промысел. «Сероглазка» направлялась в район Гавайских островов. Переход — чуть ли не неделя. А зачем терять время зря? Можно же взять рыбу и по пути ее перерабатывать.

Через двое суток после выхода из бухты на борту «Сероглазки» уже было более двух тысяч центнеров минтая. В первые же сутки приступили к работе люди. Из котельной в жиромучное отделение машинисты «погналы» пар. Проверили себя — не притупилось ли чутье на рыбу? Испытал в деле своих помощников — мастеров и матросов — старший тралмастер Валерий Николаевич Стаканов, уточнил, кто из новичков особенно нуждается в опеке более опытных.

Уже на переходе с полной загрузкой работало оборудование на выпуске рыбной продукции. А заведующий производством Александр Георгиевич Долгалев задолго до прибытия в район лова успел подбить бабки: сколько даст эта продукция колхозу, что будет иметь команда. Получалось недурно: почти тридцать тысяч рублей, можно считать, были в колхозном кармане. Об этом Долгалев сообщил в радиорубке, на утреннем капчасе.

— Схожу вечером «на деревню», порадуя радиограммой начальство, — откликнулся на долгалевские подсчеты Гена Черных, судовой радист. Это он по-своему так называет рыбацкий поселок Сероглазку, где расположена усадьба колхоза. За тысячи миль от родных берегов от прозаического «схожу на деревню» пахнуло свежей смысловой сочностью.

Занятный человек этот Долгалев. Как ни велика камчатская земля, а наши с ним пути нет-нет да и пересекались в разных местах и при разных, часто неожиданных обстоятельствах. Не могло прийти мне в голову, что увижу его и на колхозном судне.

Вот уж к кому не пристает время! В каких только должностных ролях не доводилось встречать Сашу Долгалева: и инструктором райкома партии, и первым помощником капитана большого рыболовного траулера, и технологом рыбокомбината, но ни одна из них не смогла наложить хоть какой-нибудь отпечаток на его характер, взгляды, манеру поведения. Каким запомнился он мне при первом знакомстве во время наших мытарств в северной сельдевой экспедиции, таким и остался: ничего ни

прибавилось в нем, ни убавилось. Если не принимать во внимание волосы на голове. Заметно их поубавилось. Залысины расплылись и ото лба клиньями поглубже врезались. Плешина на маковке тоже внатруску прикрыта, вот-вот засветится.

В его медицинскую карту врачам, наверное, за эти годы ни разу не пришлось вносить изменения в весе, росте, объеме грудной клетки. Не будь такой переменчивой в наше время мода, Саша мог бы на пятнадцать лет вперед костюм себе заказывать.

И голос тот же. Подростковый. Да еще с девчоночьим схожий. Когда Долгалев разговаривает тихо, не так обращаешь внимание на эту особенность. А по телефону слушаешь или когда Долгалев на крик срывается — девчачья писклявость так и прорезывается. Как-то на мостике третий штурман Николай Курдюков даже растерялся, услышав долгалевский голос. Отнял трубку, задумался. С полуслова каждого привык угадывать, а тут...

— Кто же это может быть? — обвел нас недоуменным взглядом.

— Мостик, чего молчите? Это Долгалев говорит, — вывел его из растерянности тот же голос.

— Тьфу ты, — не сдержался Курдюков. И тут же поправился: — Это я не на тебя... тьфу, Александр Георгиевич. Слушаю внимательно!

Из портретных штрихов Долгалева заметнее всего выделяются губы. Они у него все время какие-то озябшие до посинения. Даже когда он мило улыбается, не отходит эта зябкая синева. Не отогревается. И сами улыбки у него с загадкой. Как у людей, что себе на уме, хотя чем-чем, а хитростью его бог обделил: кому лишку дал, а Долгалеву — ничего. Запрокинет голову на плечи, как цыпленок, после того как клюв в водицу окунет, очки куда-то в потолок глядят, а на лице застывшая улыбка. О серьезном говоришь — улыбается. О смешном — хоть бы одна складка шевельнулась, обозначила перемену. Теряешься даже, а слушает ли он тебя? Или о чем-то своем думает?

Только когда умолкнешь, убеждаешься — слушал. Да еще как! Мозг у Долгалева что грохота для промывки золота. Пропускают через себя весь словесный грунт, и лишь на последнем, самом мелкочаеистом грохоте оседают полезные для него, Долгалева, крупницы. Он их не разменяет, как это делают многие: услышат что-то интересное и в первой же компании выдают за свое. Долгалев откладывает эти крупницы, словно бесценные приобретения, в копилку своих жизненных познаний. На всякий случай. И никогда не использует их с выгодой. Он в этом смысле совершенно бесталаный. Все попытки как-то реализовать свои познания обращаются против него же.

Сразу же после института, оказавшись в самом пекле сельдяной путины — в Олюторской экспедиции, — молодой инженер-технолог Долгалев пытался применять на практике усвоенные в институте знания, и на него смотрели, как на чудака. Между усвоенным им, студентом, и реальной обстановкой на промысле то и дело возникала пропасть. Его коллеги, выпускники того же института, легко перешагивали через эту пропасть, безболезненно преодолевали вечный разрыв между теорией и практикой, действовали по обстановке. А Долгалев не мог перешагнуть. Какой же тогда был смысл тянуться изо всех сил, стараться лучше других учиться, больше других знать. Зачем?

Нет, не мог он расстаться с приобретенным таким трудом достоянием. И попадал без конца в неловкое положение. В лучшем случае, над ним беззлобно потешались, как потешаются над наивными людьми, лишенными жизненной, деловой хватки. Начинал проявлять запальчивое упрямство — и окружающие его люди становились раздражительными. На него косились, при его появлении многозначительно усмехались. Не заложи в нем природа неиссякаемую доброту, снисходительность к людским слабостям, мог бы впасть в одиночество, ожесточиться. У него же любые проявления человеческих склонностей, страстей и страстишек вызывали лишь удивление: «И чего это они?»

Любопытно то, что сам взъерит окружающих своими действиями и сам же плечами жмет, искренне недоумевая, почему люди из себя выходят: кричат, потрясают кулаками, выражают, недовольство. И самое интересное: чем разумнее на его, долгалевский взгляд, он поступает, тем острее реакция на такие действия.

Как-то, еще в бытность инструктором райкома партии в одном из северных районов полуострова, произошел с Долгалевым забавный случай. Направили его, как это и было принято в те годы во время путин, на рыбопосольную базу. Самую дальнюю и заброшенную. Ни радио, ни телефонной связи с райцентром. Тем ответственней была миссия Долгалева. Как инструктору отдела пропаганды и агитации ему поручалось наладить политическую работу на этом участке путины: с лекциями и беседами выступить, наглядную агитацию оживить, организовать выпуск «молний», стенной газеты.

Добрался он на катере до небольшого поселочка на побережье и к директору базы. Стал выкладывать ему свои планы, как намерен организовать политико-массовую работу, а тот вроде и слушает инструктора, а сам о чем-то своем думает.

— Понятно, без надежного актива мне не обойтись,— вздохнул напоследок Долгалев, подчеркнув этим самым еще раз важность предстоящих дел. Достал из кармана блокнот. Неторопливо раскрыл его. Пригладил страницу. Запрокинул выжидающе голову на плечи.

— А теперь назовите, пожалуйста, несколько человек. Таких, сами понимаете, задатки у которых есть к этой работе. И на кого я смогу положиться, пока буду у вас...

Надо было быть Долгалевым, чтобы не заметить, как скручивается в пружину человеческое терпение. Он не видел, как сжатые в кулаки пальцы директорских рук распрямились и напряженно впились в крышку стола, отклеились друг от друга, робко шевельнулись каждый по отдельности, освобождаясь от судорожной немоты, будто до этого их долго держали сдавленными в мертвых тисках, и после разминки начали выстукивать дробь. Нервную, беспорядочную. Не заметил Долгалев и нетерпеливого ерзанья директора базы, резкой перемены в его лице, на котором каждая жилка взбухла от негодования, как взбухают по весне ручейки от талой воды. Понятно, просмотрел он и тот критический момент, когда человеческому терпению пришел конец. Хрустнула под увесистым кулаком директора крышка стола. С дребезгом подпрыгнула на ней консервная банка с окурками.

— Да вы что, издеваться надо мной приехали?!

Долгалев оглянулся по сторонам. На кого это он? Тронул, поправляя, пальцами дужку очков на переносице, всмотрелся в сидящего перед ним уже немолодого человека.

— Простите... Это я приехал... издеваться? Над кем? Каким образом?

— Лекции, беседки, стенгазетки, понимаешь... Актив ему подай надежный, понимаешь...

Директор встал, в сердцах двинул ногой стул.

— Они там что, совсем?

— Кто «они»? И потом, почему вы так со мной разговариваете? — с недоумением спросил Долгалев,

Директор понял, что его далеко занесло. Он резко остановился посреди комнаты, виновато посмотрел на очкарика,

— Понимаешь... Ты меня извини. Нервы, понимаешь...

Я ведь кого ждал все время? Бригадиров... И еще думал, может, хоть захудалого мастера подкинет рыбокомбинат. Вот в чем, понимаешь, дребедень. Лосось валом попер, а я один, без бригадиров, понимаешь? Хоть на части рвись. В иные годы, глядишь, сезонников завозили из рыбных краев, а ныне одни бабы-степнячки ставропольские. Не знают, с какой стороны к рыбине подступиться. Под хвостом, понимаешь, глаза у нее ищут. Это я, конечно, погибаю, но горим мы, горим,

понимаешь, с обработкой! Не успеваем. Увидел, катер шлепает, наконец, думал, бригадиров подослали. А тут, гм, ты... Лекции, беседки, стенгазетки, понимаешь... И еще актив подавай. Ну и... Ты уж того, понимаешь... На меня, понимаешь, не того...

Долгалев выслушал директора и спокойно спросил:

— Спецовка и нож для меня найдутся?

— Зачем? — уставился директор на него.

— Я же инженер-технолог. И не будем терять время.

Целый месяц отбригадирствовал Долгалев. В райкоме от него ни слуху ни духу. Хотели уже на розыски пускаться: мало ли что могло случиться. А когда объявился, понятно, сразу на ковер к первому. Долгалев ему письмо директора базы сует, в котором тот рассыпается в благодарностях райкому за действенную помощь, а первого дрожь начинает пронимать: дурачком, что ли, прикидывается инструктор, не понимает, что от него хотят. Мало того, что ни одной оперативной информации не передал о проведенных мероприятиях, да еще и без обобщающей справки явился. Такое ответственное дело провалил.

Долгалев пытался было по своей наивности сослаться на непредвиденные особые обстоятельства.

— В письме же все об этом сказано...

Первый нервно отодвинул от себя письмо, прихлопнул его ладонью.

— Ты кем работаешь? И где? Наконец, за что зарплату получаешь?

Всыпали ему тогда по первое число. А мне этот эпизод — как редкая находка. Вернулся из экспедиции в Петропавловск-Камчатский, связался по телефону с первым секретарем райкома. Хотел взять недостающие для очерка детали. Рассказал секретарю о своих намерениях, жду, что он ответит. А трубка молчит. Продул ее, напомнил о себе.

— Вы что, разыгрываете или всерьез? — откликнулся наконец он, прокашлявшись. — Разные были у нас инструкторы, но таких... Нет, в самом деле, вы серьезно насчет очерка?

Разговор пришлось округлить.

А потом время вытеснило этот эпизод из памяти. Всплыл он снова уже на «Сероглазке», на третий день после нашего выхода из порта.

— С разными заведующими производством доводилось работать, — поделился своими опасениями Пономарев, — но с таким, как сейчас идет... Откровенно, за исход рейса опасаюсь. Чует мое сердце, покрутит же он всем нам нервы.

Надо же, чуть ли не дословно повторил услышанное мною от первого секретаря тогда, по телефону...

— Что, есть какие-то основания для таких опасений? — решил я осторожно прощупать, зная талант Долгалева делать «что-то не так».

— Основания? Так он их напоказ для всех выставил. Глаза колют, — с горьковатой иронией ответил капитан. — Вон на ботдеке видели, что он вытворяет? Это ж додуматься надо до этого! Заставил матросов бочки красить. Я ему говорю, зачем, кому это нужно? А он твердит: «Положено по технологии. Иначе их не примет с жиром перегрузчик». Пробовал убедить его — глупость это. Никогда в жизни мы их не красили. И ничего — сдавали. Принимали перегрузчики бочки за милую душу. Хоть кому-то бы стукнуло в голову предъявить претензию.

— Нет, вы посудите сами, при чем тут технология? — начал срывать на рыдающие интонации Анатолий Андреевич. — Достал с трудом на стороне двести двухсоткилограммовых бочек из-под спирта. Из-под спирта, улавливаете? До сих пор дух не выветрился. Парни ноздри еще прочищают. Понюхают и чихают, аж палуба дрожит. Что может быть еще стерильней? Клад, а не бочки. В такой загашник, не окажется танкера, сорок тонн жира слить можно. Ну, выпарить там внутри — это я еще понимаю, хотя для жира-полуфабриката и такие годятся. Все равно пойдет на

переработку. Но снаружи, снаружи-то к чему лоск наводить?! — все больше распаялся Пономарев.

Не предполагал я, что покраска — долгалевская затея. Ходил мимо плотно уставленных по правому борту в несколько рядов бочек и про себя дивился хозяйской хватке капитана. Вспомнился эпизод, о котором был слышан, о котором мимоходом уже писал. Вот так же, как и сейчас, топала тогда «Сероглазка» в юго-восточный район Тихого океана...

...Рулевой Слава Шанаев то вскидывал к глазам бинокль, то опускал его и, щурясь, всматривался в пустынный горизонт.

— Опять Кавказ высматриваешь? — заметил заглянувший на ходовой мостик постоянный старпом "Сероглазки" Носич. И его слова приятной щекоткой отозвались на мясистых Славиных губах.

Мало кто на траулере не знал об этой шанаевской слабинке — любую землю, черной глыбой выпирающую из океана, оценивать только одной меркой: схожи ее очертания с Кавказом или не схожи. И каждая такая встреча с землей в океане пробуждала в нем или разочарование: «Что это за горы», или ревность: «В гости приедешь, с Казбеком сравнить будешь. Потом сам скажешь, где красивее», — набрасывался он на каждого, кто обнаруживал хоть малейший восторг.

— Справа по курсу маячит черная точка! — отняв от глаз бинокль, сказал Шанаев. — Приближается к нам.

И бинокль стал переходить из рук в руки. Терялись в догадках до тех пор, пока быстро приближающаяся точка не вырисовывалась в обычный пневматический кранец. Интригующее напряжение враз спало. Лица у всех обитателей ходового мостика скислились.

Вошел Пономарев. Равнодушно окинул взглядом сигарообразную тушу, переваливающуюся на легкой зыби. Промерил мостик рассеянной походкой. Взялся уже за ручку двери, выходящей на крыло, и, словно раздумывая, замер в этой позе. Мысль его споткнулась об этот, теперь уже никому не нужный странствующий по океану кранец, и он почувствовал, как она крепко завязла на нем. «Чего мне далось это дерьмо? — никак не мог сообразить он. — Ну плывет и плывет. Мало ли их выбрасывают, когда выходят из строя».

Старожилы «Сероглазки» уже привыкли к причудам кэпа: своим личным деньгам он счета не знает, оттого, когда судно возвращается в колхоз, в пономаревской квартире ни днем, ни ночью не закрываются двери. На его щедрое хлебосольство валом валят, отбоя нет. Но как доходит дело до судового хозяйства — над клочком старой дели будет трястись... «Это же колхозные копейки. Место не перележит, а куда-нибудь приткнуть — в самый раз сгодится», — вдалбливает он новичкам. И даже они быстро усваивают неписаное правило, заведенное на судне; ничего за борт — все тащить на пароход. За рейс «Сероглазка» обрастает «вторсырьем»: куда ни глянь — вороха затральной дели, аккуратные, похожие на арбузные, горки выловленных кухтылей. Это на виду. А сколько разного «добра», выброшенного другими судами, как отслужившего свой срок, хранится в заנачках старпома и боцмана — этого уж никто не знает.

О пономаревской привычке всякие отходы к делу пристраивать, извлекать из них выгоду какие только байки не рассказывают! И не в каждой байке уловишь — то ли парни поднакрутили насчет скаредности своего кэпа, то ли это и в самом деле было. Взять ту же байку о наделавшей в свое время много шума истории. Умудрился Анатолий Андреевич вывезти в море поросят на борту.

«Рейс длинный, пока туда-сюда, и свежина своя подоспеет, 7 оправдывал он про себя свою затею. — Вон сколько шей и всякого добра выплескиваем».

Слух о новом пономаревском предприятии — создании «свинофермы» на траулере — все-таки просочился на берег. А когда просочился — поднялся переполох. В адрес начальника экспедиции ушла грозная радиограмма: «Проверить, принять срочные меры».

На борт «Сероглазки» прибыла комиссия. Проверяла, прикидывала, где можно на рыболовном траулере выкроить закуток для свинофермы. Чуть ли не каждый клочок палубы «на нюх» выверяла. И ничего не унюхала.

Перед тем как покинуть траулер, за обедом, Анатолий Андреевич обиженно допытывался у представителей комиссии:

— Ну хоть сейчас, когда сами убедились, можно же сказать, кто пустил такую «утку»? Неужели в нашей команде нашелся такой?

Представители комиссии хранили тайну и, нахваливая кулинарные способности сероглазкинського шеф-повара, с удовольствием уписывали наваристый борщ со... свежей свининкой.

Не раз Пономарев, подолгу засматриваясь на принайтованные на баке негодные кранцы, поругивал себя: «И зачем их возим? Столько места занимают». Порой он испытывал какое-то чувство досады от того, что такому добру не может найти применение. Порывался отдать команду боцману избавиться от них, но всякий раз что-то удерживало его от этого шага. Наверное, брала верх его хозяйская до скаредности натура — авось, да где-нибудь сгодится.

И вот сейчас, в эту минуту, это «где-нибудь» вдруг прорисовывалось настолько отчетливо, что он не удержался, хлопнул себя по лбу и, ругнув: «Надо же быть таким болваном!», рванулся к спикеру.

— Траловой вахте выловить кранец! — отдал он команду. — Боцману и старшему тралмастеру Мамонтову подняться на ходовой мостик.

Неоуменно переглядывались штурман с рулевым, пытаясь предугадать, какая еще идея так неожиданно вызрела в голове капитана.

А он, полузакрыв глаза, уже пребывал в другом мире. Далеком, полуразмытом временем. И не было в эту минуту для него ни вот этой лихорадочно вздрагивающей под ногами палубы, ни выголубленного жарким солнцем и безветрием океанского безбрежия. Все отодвинулось, сместилось.

Он увидел себя, босоногого, шаловливо взвихривающего на дороге пыль, вспушенную деревенским стадом, идущим на выгон. И почти физически ощутил, как щекотно просачивается между пальцами увязающих по щиколотку ног эта схваченная утренней корочкой пыль. Мягкая, словно просеянная через густое сито, и теплая, не успевшая выстудиться за ночь. Вот и все, почти все, что осталось по ту сторону жестокой войны, что осталось от детства, а потом...

Не играл трубно побудку бык Митяй, гроза зыклинских мальчишек, не щекотал ноздри настоящий на парном молоке утренний воздух. Под лязг гусениц просыпалась затерянная в смоленских лесах, притихшая деревенька. Немцы шли и шли на восток...

Одно утешение оставалось вначале у Пономаревых — умница-послушница телочка Доня. И ее увели под всхлипывание сестренки Аси.

Пропылил босоного Толян Пономарев по той стороне войны, а на этой зыклинские бабы уже стали величать его, четырнадцатилетнего, почтительно Андреичем. Особенно с тех пор, как понесли к нему обутку на починку.

С нее-то все и пошло... Сначала чинил как мог, а присмотрелся на райцентровской барахолке — из какого сырья обувь мастерят, и поволок домой автомашинные скаты, шматы транспортерной ленты. Так наловчился из этого материала тапки шить, что сначала все Зыклино в них вырядил, а потом и на барахолку стал поставлять свою продукцию. Обзаводился деньжатами на поездку в мореходку...

— И как же мне раньше не могло прийти в голову?! — продолжая досадовать на себя, откликнулся он на приветствия боцмана и старшего тралмастера. — Столько «рубях» в клочья поизодрали, дели поиспортили.

— Это вы о чем, Анатолий Андреевич? — спросил его боцман.

— Вот что, братцы, — задумчиво, врастажку произнес Пономарев, нехотя обрывая побывку в том мире, в который вас так редко уносит перегруженная повседневными заботами память. Встряхнул головой. — Попробуем к кутку пришивать «подошву».

Всех рыбаков, работающих на пристипоме, изводили бесконечные порывы тралов, особенно кутков. Грунт скальный, никакие приспособления не выдерживали. Траловая команда то и дело занималась починкой. Поэтому Анатолию Андреевичу был понятен нетерпеливый взгляд старшего тралмастера.

— Не спеши, сейчас все объясню, — предупредил его.

Подошел к лобовому окну рубки. Кивнул на бак, где темными сигарами выделялись кранцы.

— Каждый кранец надо разрезать на четыре части. Этим займешься ты, — сказал он боцману. — Потом нужно расслоить каждую из них. Как? Подумай сам. Скорее всего, брать на шкентели и разрывать с помощью лебедки. Ну, а вам, тральцам, — обратился он к Мамонтову, — остается пораскинуть мозгами, как эти подошвы приштопать к кутку. Все теперь ясненько?

С того дня пошло отлаживаться на «Сероглазке» производство «Подошв». Их боцман надрал столько, что, когда траулер вернулся с промысла, на его борту этих заготовок было на два рейса вперед. Ноская подошва — нехитрое изобретение капитана — помогло команде чуть не весь вылов сделать одним тралом.

* * *

И вот теперь новое «увлечение» Пономарева. Расчетливость этого увлечения понятна. В случае, если не подгребет в район промысла вовремя жироналивной танкер — на «Сероглазке» надежный запас емкости. Кроме танков, сорок тонн жира можно закачать в бочки. Сорок тонн! А это — денежки!

Уже на третьи сутки перехода обратил внимание — рядом с рыже-красными от ржавчины бочками появились нарядные, как игрушки, отливающие на солнце смоляным блеском. Подумал: значит так надо. И еще представилось: переход длинный, парни от нечего делать нашли себе занятие. Но от этой мысли пришлось отказаться. Уж больно хмурые были «маляры». Значит, не по себе им, не в охотку такая работа.

И вот этот первый всплеск раздражения капитана насчет долгалевской затеи... В самом начале рейса. Понятно было и то, почему Пономарев именно мне, «постороннему» человеку на судне, сообщил об этом. Вроде кляпа в рот всадил: видишь, мол, какой он и теперь, твой Долгалев, заткнись лучше с ним.

И я заткнулся... Молча слушал, как несет его капитан. Пока за глаза...

А через день я заглянул на ботдек и оказался свидетелем стычки. По рыдающим интонациям в голосе Пономарева уловил — стычка была в самом накале.

— Ладно, допускаю, — наступал он. — Есть в ваших инструкциях такой крючок — не положено. Так по правилам безопасности мореплавания и сами бочки я не имел права брать на палубу, думаете, весело с ними кувыркаться во время шторма? А я их взял! На свой страх и риск. Хорошо, что пронесло при выходе. Засекла бы моринспекция, с кого бы спросили? С меня. Только с меня! И диплом мог бы тью-тью... А на хрена, спрашивается, мне все это нужно? Мне, лично? Положено жир в танкер перекачивать прямо из танка — и будь здоров, не суетись, Пономарев. Делай как все... Правильно говорю?

— Правильно, — согласно кивает Долгалев,

— А если этого танкера нет? Понимаешь, нет? Добро за борт, да? Спрашиваю, за борт такое добро положено по твоим инструкциям?

— Это безобразие, — пожимает плечами Долгалев. — Нельзя такое допустить.

— Вот спасибо за объяснение! — шлепает в сердцах Пономарев себя по ляжкам. — Ну а насчет того, что бочки по благу достал... Махнул на всякие «положено» и на судно их доставил, чтоб не допустить этого «безобразия», тут-то как?

Долгалев тянет руку к маковке, неспешно перебирает на ней жидкие волосы, словно пересчитывает их.

— Насчет того, что по благу достали, — тут некрасиво как-то, Анатолий Андреевич, получается. Ну а коль уж на борту теперь бочки — это здорово! На душе спокойней. Резерв емкости.

Вздыхнул.

— Только надо красить... Для надежности. По инструкции положено...

От последней спокойной фразы Пономарева перекосило. При всей своей грузности он легко крутнулся на месте, вдохнул воздух, словно нырять собирался.

— А на борт брать положено? — начал было он.

Воздух вышел, и Пономарев лишь обессиленно и протяжно простонал:

— Мм-ымм.

Снова заглотнул воздух:

— У попа была собака, он ее любил... Что?... Все сначала, да?...

Безнадежно махнул рукой и подался на мостик. Долгалев привычным движением поправил очки. Повел удивленно плечами.

— И чего это он? — спросил он у меня. — У всех с нервной организацией почему-то не в порядке. У капитана вот тоже, наверное...

Как я узнавал Сашу Долгалева! Внутри шевелилась жалость к нему. Ох и тяжело тебе жить на этой грешной земле! Это еще Пономарев не жесткий по натуре человек. Ноет, и только. А на другого бы нарвался? Так скрутил бы... Впереди же целый рейс! То ли еще будет...

Неужели так трудно переломить себя? Хотя бы в мелочах. Всмотрись, как другие делают. Все ведь так просто. Ступил не туда, видишь — ошетинились люди, не по нутру пришлись кому-то твои слова, действия — это же так заметно! — остановись, пораскинь мозгами, как нейтрализовать осложнившиеся взаимоотношения, загладить трещину. Это ж тебе не в муравейник палку сунуть... С людьми живешь.

Понимаю, дурацкая ассоциация, но Саша Долгалев иногда мне напоминал паровоз. Катит по рельсам. И только по рельсам. Сойти с них на какой-то сантиметр, и все, для него — крушение.

В первый же день, как только зашел в его каюту, обратил внимание — на полке учебники, толстые тетради.

— Может, выкроится время для подготовки, — уловив мой взгляд, пояснил Долгалев. — Учусь в институте.

— Разочаровался, меняешь профиль? В таком-то возрасте?

— Не совсем так. Близкий к моей специальности профиль — институт народного хозяйства. Сейчас экономика на первый план вышла.

— И все-таки думаешь менять профессию? Какой же тогда смысл заканчивать второй институт?

Долгалев сидел, как всегда, с запрокинутой на плечи головой. Очки нацелены вверх, в одну точку, Зябкие до синевы губы изображали улыбку.

— Посмотрю... Надо быть гибким. Раз экономика сейчас главное — нужно пополнять знания. Разве при моей профессии лишние они?

«Это ты-то гибкий? Тебе, паровозу, они нужны? Рельсы тебе нужны, а не знания», — подмывало сказать. Но сдержал себя. Зачем? Все равно бесполезно.

И я лишь посочувствовал Саше;

— Трудновато при твоей-то нынешней работе заочно тянуть.

— Ничего. Пока неплохо получается. Не отстаю. Нагрузки общественные много времени, правда, отнимают. Но как посмотреть на них — тоже ведь обогащают. Вот готовлюсь к первому занятию в кружке партийного просвещения, — кивнул Долгалев на разложенные на столе книги. — Пропагандистом утвержден. И за доклад уже пора браться. Поручили сделать на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Накапливаю материал, делаю выписки. И за литературными новинками следить надо. Толстые журналы и «Роман-газету» еще как-то успеваю прочитывать, на большее времени не хватает, — со вздохом закончил Саша и виновато скосился на меня. Словно ожидал упрека: как же это, мол, так у тебя — и не хватает времени? Отстанешь же...

Доклад на торжественном собрании он сделал потом интересный. На него вроде даже другими глазами посмотрели. С откровенной завистью: «Вот это голова, сколько в ней вмещается». Но покраска бочек все застала. Простить ее не могли. Те, кто не был причастен к покраске, не упустили случая съязвить по этому поводу. А «художники», кому довелось своими руками покрывать их черным лаком, пускали каленые стрелы ему в спину. В каютах перемывали его косточки:

— Как с этим чудачком перегруз будем делать? Он же действует только по инструкции.

— И еще пить не умеет. Интересно, как он толковать с приемщиками станет? На «сухую»?

И наперед прикидывали: кто бы мог годиться Догалеву в дублеры на случай, если приемщики на перегрузчиках окажутся «непокладистыми».

Еще не дошли до района промысла, и опять вспышка. На этот раз Пономарев метался по мостику взбешенный.

— А теперь что скажете? Гляньте, что он вытворяет! — набросился на меня, как только я появился. Поташил на корму.

— Вон, видите? — показал на мутно-желтоватые дорожки на поверхности океана. — Это же жир! Оставалось немного в танке от прошлого рейса. Дал команду выкатать. Я к нему: почему, Александр Георгиевич, суете свой нос куда не следует? Нет, говорит, сую как раз туда, куда надо. По технологии танки надо тщательно пропарить. Опять со своей технологией! Она меня чокнутым в рейсе сделает! Ну, а выкатывать жир за борт положено по технологии или не положено? — спрашиваю у него. — Найди мне такой пункт! А вот это уже, говорит, не по моей части. Капитан и механики должны знать, что можно в океан откатывать и что — нельзя. Ну как разговаривать с таким человеком? А вы еще защищаете...

Вскоре после этой очередной пономаревской вспышки «утешил» меня «дед» — стармех Михаиле Бурьян.

— Знаете, он мне, да и не только мне, начинает нравиться. В долгих рейсах особенно нужны такие люди.

— Почему именно такие?

— Как вам сказать? Где-то к середине рейса психами все мы становимся. Ну, это понятно почему. Все пересказано, перемолото. Оторванность от семей, однообразие. Земля тянет и прочее, и прочее. Злые, как собаки. Выход эмоции ищут. А на кого их выплескиваем? Друг на друга! Потом ходим и дуемся. Еще хуже после этого,

— Про Долгалева-то вы к чему?

— К тому, что необидчивый он человек. Все вокруг шумят, пузыри пускают, а ему хоть бы что. И свое дело делает. Для разрядки эмоций незаменимый он на судне. Что на душе накопится у людей, на нем отыгрываются. И им вроде какое-то облегчение — от внутреннего нагара избавились, и Александру Георгиевичу не в ущерб. Все равно улыбается.

Забегу вперед, Через полмесяца после прихода в район лова «Сероглазка» решила сделать частичный перегруз. Избавиться от заполненных жиром бочек: они занимали много места на ботдеке. Пономарев связался по рации с перегрузчиком.

— Можем взять на палубу бочки,— ответили ему. — Если они покрашенные. Ржавые нам не разрешают брать.

— А у нас они как раз такие! — обрадованно не сказал, а воскликнул Анатолий Андреевич. — Игрушки, а не бочки! Как в зеркало можно в них смотреться.

Конечно же, никто перед Долгалевым не извинился. Даже не вспомнил никто о том, что это он настоял покрасить.

Заговорил об этом с Сашей. Ожидал — даст волю чувствам. А он лишь плечами повел.

— Говорил же им, чудакам, не положено в некрашенных. Так еще не верили. Будто я сам это придумал.

Но вернемся снова к переходу на промысел. Подбил Долгалев бабки, — сколько успела уже заработать команда, считай, на выходе из бухты, — и его сообщение пришлось по душе Пономареву. Он как-то подобрел и даже на какое-то время перестал высказывать опасения насчет своего неудачного помощника по производству.

Уже на месте, в районе лова пристипомы, довелось разговаривать с рыбаками океанрыбфлотовских траулеров. Рассказал о хозяйском штришке сероглазкинцев. Думал, небрежно заметят мне: «Ну и что такого... Подумаешь!» Ан нет. Одни покачивали головами, откровенно выражали добрую зависть: «Надо же, молодцы!» Другие погружались в сосредоточенную задумчивость. Видно, прикидывали в уме, что успели потерять. А может, и запоздало поругивали себя: «Почему бы и нам было так не сделать? Нет же... Как на прогулке, катили по океану. Почти неделю дурака валяли».

Почувствовал я особый рыбацкий почерк «Сероглазки» и на отчетно-выборном партийном собрании. Первый помощник капитана, он же секретарь партийной организации, Игорь Васильевич Никитин сделал доклад о работе в прошлом рейсе, по полочкам разложил все ошибки и приобретения, поучительные для сегодняшнего и завтрашнего дня.

После докладчика слово взял Чекутов. Он — председательствовал. И он же со своим темпераментом чуть не скомкал все собрание.

— Согласен с докладчиком. Нечего дорожками за кормой любоваться. Сглядятся дорожки, и ку-ку — одна вода. По курсу смотреть надо. А на курсе у нас ойе-ее... Та-а-кой кругляшок — ровно сто тысяч центнеров брать сверх пятилетки. Да еще прошлогодние грешки. Зака... Виноват, замарались — нужно отмываться.

Чекутов нетерпеливо окинул взглядом сидящих:

— Предлагаю старую работу признать удовлетворительной. А новому бюро обеспечить сто тысяч центнеров. И никаких! Или как там у вас, Игорь Васильевич, в проекте об этом записано?

— Обожди, обожди, Евгеньевич! — остудил его помполит. — Ишь, дорвался до власти. Раз-два, и все решил! За всех! Обсуждать доклад надо или не надо?

— Да чего там люли-малину разводить? Всем же ясно, — запальчиво начал было старпом отстаивать свое предложение. — Языком сколько ни лови, все равно ничего не поймаеть.

— Евгеньевич! Товарищ Чекутов! Ай-я-яй, — укоризненно покачал головой Никитин. — Есть же порядок. Прошу его соблюдать, — мягко, но настойчиво заметил он.

Помполит был в этом рейсе самым старшим по возрасту, и уже это, кроме самой должности, определяло его авторитет, его роль на судне.

— Ясно-о, — выдохнул Чекутов так, словно это было последнее в его жизни слово. На большее у него уже не останется сил.

Вскользь брошенное старпомом насчет «замарались» нашло свою мишень. Я заметил, как скривился капитан, как вспыхнули мочки его крупноватых ушей. Он-то знал, какие грехи имел в виду Чекутов. В чей огород брошен камень...

...Наверное, самой природой запрограммировано напоминать забывчивым, что мир состоит из света и тьмы, добра и зла, удач и просчетов и многих других полюсных начал. Пономарев с этой диалектикой смирился. Смирился с действием ее законов во всех сферах жизни, кроме одной — рыбалки. Тут он сам себе всевышний. Нет и не может быть для него на рыбалке этих полюсных начал. Только удача, только свет — и никакой тьмы. Так было у него всегда. Десятилетия.

Так было у него вплоть до 1974 года...

Как же коварно пошутила над ним фортуна! Он вышел в рейс после самого громкого в своей рыбацкой жизни рекорда. Накануне, в 1973 году, «Сероглазка» взяла 143 тысячи центнеров рыбы за рейс. Только за один рейс! И только одной пристипомы! Сколько тогда шума было вокруг этого события! О сероглазкинцах много писали в газетах, рассказывали о них в радио-телепередачах.

А потом их встречали... Боже мой, как их встречали! Солнце и то расчувствовалось. С утра растопило хмарь, дочиста размыло небо. Большой колхозный причал так живо напоминал ковер. Соткан он был из праздничных нарядов сотен людей. И еще он был живым: волновался, двигался, гомонил — жил нетерпеливым ожиданием.

Гремел, не уставая, духовой оркестр...

Тонули в неловких сыновних объятиях седые счастливые головы матерей, отцов: дождались. Лучились глаза жен, невест...

Не торопясь, будто нащупывал каждую ступеньку, сходил по трапу на земную твердь капитан. Грузноватый, с проседью, выбивающейся из-под фуражки. Я смотрел на него и вспоминал строчки стихотворения, посвященного ему автором, пожелавшим работать на «Сероглазке». Он прочел о Пономареве очерк в газете и прислал письмо с Урала. Рассказал о себе. А потом — стихотворное посвящение.

Под	кораблем	бездонные	глубины,
Машина	свой	отстукивает	лад.
Свисают		капитанские	седины
Над	эхолотом,	словно	звездопад.
У	каждой	просоленной	серебрянки
Своя	мечта,	борьба	своя и ярь,
Нанизываясь,		падали	снежинки.

На этот убеленный календарь.

Пономарев сходил по трапу спокойный, собранный, знающий себе цену, И немного усталый. Усталый той сладостной усталостью, какую ощущает человек после удачного завершения важного дела, долгое время поглощавшего его целиком.

Своя мечта... Борьба своя! Пономарев сходил на пирс, а в моей памяти эти шаги воскрешали многотрудное его восхождение по жизненным ступенькам. Восхождение вот к этому, ни с чем не сравнимому мгновению. Разве этот рейс, который останется в истории рыболовного флота Камчатки легендой, был для него счастливой неожиданностью? — думалось мне. — Да нет же! Тысячу раз нет! Он всей жизнью был подготовлен к нему. Именно к такому, с таким исходом. Это должно было когда-то произойти, неотвратимо, как рок. Человек обязан проверить себя на чем-то до конца — что он может, «если на полную раскрутку». Не мог только Пономарев знать, когда, в какой точно год это произойдет.

Как паруснику недостает всего лишь попутного ветра, чтобы прийти в заданную точку в океане в намеченный срок, так и для реализации пономаревской мечты не

хватало каких-то благоприятных сопутствующих факторов. И вот теперь все линии рыбацкой судьбы удивительно удачно сошлись... Во-первых, рейс, в отличие от прошлых лет, начинался чуть ли не с начала года, а значит, была предоставлена возможность развернуться в полную силу. Во-вторых, в этом районе сложилась благоприятная обстановка. В-третьих, большинство рыбаков команды хорошо знали характер этого промыслового района. Вот и все. Остальное было в его руках. Зажимай крепче, не упускай случай.

И вот он, долгожданный рекорд. Ни одному экипажу в стране не удавалось ловить столько за такое время.

Когда же, с чего началось восхождение Пономарева к вершине рыбацкого мастерства?

* * *

...Грохотал по улице послевоенной Риги трамвай. Прижавшись в уголке, рядом с выходом, набыченно озирался по сторонам подросток. Долговязый, нескладный. Редко кто из входящих в трамвай не останавливался на нем взглядом. Виной этому, наверное, было его непривычное для Риги одеяние. Колом торчали на нем брезентовые штаны из полинялого на солнце военного маскхалата. Из-под подстреленных штанин остро выпирали щиколотки, даже они подчеркивали его худобу. На ногах, зажимавших сколоченный из досок и фанеры самодельный чемодан, такая же, саморучно сработанная из ленты транспортера обувь — творенье великой нужды военного времени.

Тому, кто первый додумался распластать ленту и автопокрышку, скроить из них тапки, и в голову не могло прийти, что он своим «изобретением» обуеет всю европейскую часть России. И что его «модель» станет единственной моделью летней обуви: надежной и доступной для всех, разутых оккупацией и военной разрухой; что нефасонистые, грубоватые, но ноские тапки захлестнут барахолки городов и рабочих поселков.

Рига не знала такой «модели». И рижане-пассажиры с понятным любопытством косились на нее, не подозревая, что вот этими, казалось, безобидными взглядами могут подталкивать подростка на отчаянный шаг — прямо на ходу, не ожидая остановки, броситься из трамвая... И бежать, бежать... Подальше из этого чужого города.

И он это сделал бы, если бы... не неожиданный поворот. Пробираясь к выходу, пухлощекий мужчина стукнулся ногой о жесткий чемодан подростка. Скривился от боли, зло метнул взгляд, выругался.

— И что вас несет сюда?! Сидели бы по своим деревням... Обьедались!

— Слушай ты, городской! А ну, не цепляйся к мальцу!

Парнишка ощутил затылком чье-то порывистое дыхание. Озирнулся и увидел солдата.

— По харе же видно, сам из деревни деру дал. На готовый харч. Вон как откормился...

— Думаешь, если фронтовик, то тебе все можно? — опасливо косясь на рослого солдата, медали на его груди, огрызнулся мужик. — Может, я тоже...

— Насквозь вижу твое «я тоже». В другом месте намалевал бы я на твоей бесстыжей роже.

Пассажиры притихли.

Трамвай подходил к остановке. Солдат осторожно, словно боясь причинить боль, положил руку на плечи подростка.

— Куда путь держишь, малец?

Тот робко назвал улицу, номер дома.

— Бывал хоть раз в городе?

— Не-е, — качнулась голова на тонкой шее едва заметно, словно паренек боялся, как бы от резкого движения она не оторвалась.

— Ничего-о, — не то для него, не то для себя обронил солдат. — Свое, оно всегда отыщется...

И от этих обычных слов как-то вдруг стало уютнее в большом незнакомом городе. Он уже не казался таким чужим.

...Помешивая ложечкой чай, дядька изучающе рассматривал долговязого племянника, припоминая, когда в последний раз видел его и каким он тогда был.

— Значит, говоришь, ни у кого чтоб на шее не висеть? — вторит он вслед за племянником. — В мореходку решил податься? Слышь, мать, — кричит на кухню жене. — Толян-то наш что удумал? Не захотел в нашей деревенской речушке из илу вьюнов-пискунов выковыривать. Ишь ты как—по морям, значит, по волнам, — то ли в осужденье, то ли дивясь племянниковой затее, качает дядька головой.

— Я же говорил, больше-то некуда, — виновато поправляет племянник. — Тут и кормежка, и одежда...

— Ну что ж, да... Рискни, коли так, — уже серьезно говорит дядя.

Математику сдал, а на сочинении срезался. Ошибок — перебор.

— Плохи наши дела, Пономарев, — заметил ему председатель комиссии. — Но... в порядке исключения — сделаем скидку на войну. Перерыв в учебе и тому подобное... Проверим-ка еще по устному.

Устный вытянул на пятерку. И началась курсантская жизнь...

После мореходки сходил матросом в первый промысловый рейс в Северную Атлантику. Рыбалка врезалась в память. Сети выбирали вручную с борта. Засыпал на ходу от усталости. Зато познал вкус первого мозольного заработка. Матери купил часы, а сестренке — отрез на костюм. И седая сельская «учителка» в тот день заглянула чуть ли не в каждый дом своей затерянной в смоленских лесах деревушки. Вроде по делу, но всякий догадывался — похвалиться подарками сына.

А потом работа на малом рыболовном траулере и первая встреча с учителем. Он вошел в жизнь девятнадцатилетнего старпома Пономарева в образе Ивана Александровича Рейнфельда, высокого, русоволосого, уже в годах эстонца с типичным лицом помора. Имя его было овеяно в рыбацкой среде легендами. Молодежь с понятной завистью смотрела на него, как на настоящего «морского волка», знала все эпизоды из его военной судьбы. Он водил транспортные суда на севере, много раз попадал в опаснейшие переплеты и оставался неуязвимым. А после войны, как промысловик, знал все банки на Балтике — никто их так знать не мог, как Рейнфельд.

На популярность Рейнфельда работала и его страсть мастерить курительные трубки. Фантазия тут была у него неистощимой. Трубки самых затейливых конфигураций, сделанные им, можно было встретить на любом судне.

Молодые рыбаки отращивали бакенбарды «под Рейнфельда» и даже раскуривали трубку по-рейнфельдовски. Пономарев же перенимал у него другое — с первого дня с ненасытной жадностью черпал Анатолий из его богатого опыта все, что могло согдиться в рыбалке и в жизни.

А спустя два года Рейнфельд пришел на пристань провожать молодого капитана Анатолия Пономарева в первый дальний самостоятельный рейс в Северную Атлантику.

— Твоя пора смотреть в небо, искать свою звезду, а мне пришло время заглядывать под ноги, — отшутился старый моряк, когда Пономарев предложил сходить разочек вместе. На его глазах легкой паутинкой осела грусть, оттаяла и растеклась по всему морщинистому лицу. Так, наверное, с сотворения мира смотрят прошедшие большую часть жизненного пути вслед тем, для кого настоящая жизнь только начинается...

У северных островов выставлял Пономарев до сотни сетей. Судно ложилось в дрейф. Отдыхала команда, готовясь к утренней изматывающей переборке. И только вахтенные видели, как полярными ночами в одно и то же время выходил капитан из каюты. Заводилась машина, и траулер медленно передвигался вдоль длинного порядка. Пономарев покидал мостик и уходил на палубу. По его команде машина стопорилась. Свесившись за борт, он подолгу всматривался в толщу воды.

Рыбаки, кому доводилось видеть это, недоуменно пожимали плечами: «Что он там потерял?»

А он искал. Искал разгадку поведения сельди. И никак не мог понять, почему тени скользят вдоль порядка и застревают, серебрясь, в ячее там, где уже кучно понатыкалось несколько рыбин. Поднимали сети, и точно — в каждой торчало по два-три десятка сбитых в одном месте селедок, словно кто их нарочно насовал... Снова выставляли порядок, и снова часами рыбаки исподволь наблюдали за причудами капитана, который «отвешивал поклоны Нептуну». Долго, терпеливо, до отечности в лице от неудобной позы. В одну из таких ночей он не поднялся, а вихрем ворвался в рубку. В глазах — азартный блеск.

— С этого дня будем делать передрейфы! Не доходит? — спросил он ошарашенного вахтенного. — Все просто! Селедка — дура, кампанейская рыбка. Соседится рядом с теми рыбинами, что уже поймались. Прет, как на приманку. Зачем же по утрам делать выборку? Пусть перестоит порядок еще одну ночь. Приманивает пусть...

С того момента команда стала выбирать по центнеру-два сельди на сетку. В пятидесятые годы это считалось богатым уловом. Вот в ту пору и заговорили на флоте о рыбацкой фортуна молодого капитана. Впервые он ощутил в себе, силу, уверенность.

Уже к концу пятидесятых годов имя Пономарева всегда стояло с именами лучших промысловиков Западного рыбопромыслового бассейна страны.

И вдруг все круто перевернулось...

Не поладил с начальством Клайпедского управления тралового флота. Вернулся из очередной экспедиции и под горячую руку наговорил резкостей о беспорядках на промысле: никудышном снабжении сетями, запчастями, продуктами, о постоянных задержках судов с приемом рыбы... Начальство вроде и безболезненно проглотило пилюлю, но и про его, пономаревские, грешки не забыло. На свет божий вытащили все его ошибки и, при случае, остороженько так, нет-нет да кольнут: «Отдельные передовые капитаны критиковать любят, а вот сами...» Дальше — больше... Гордыня б не заговорила, может, время и перемололо бы все. Написал рапорт. Как сердце вырвал из себя, и отнес в управление. Столько было связано всего с Клайпедой, с рыболовной флотилией...

Зоя Васильевна, супруга, утешала, а втайне думала — не было бы счастья, да несчастье помогло. В Темрюке, куда они потом переехали, облюбовала она дом на загляденье. Обставила его мебелью с иголочки. Энергично принялась наводить порядок в усадьбе — разбивать цветники, разводить всякие там сорта винограда, клубники. Вернется Анатолий Андреевич со службы (его капитаном флота с руками и ногами приняли), а она его у калитки встретит и за собой в усадьбу тащит. Водит по рядам и захлеб о ближних и дальних планах рассказывает: и как домашний розарий будет выглядеть, и в каком уголке устроят виноградную беседку. Она была счастлива. Она уже жила в созданном воображением мире. Таким райски уютным после промозглой Прибалтики. И спокойном — не надо всякий раз в непогоду с тревогой посматривать на море, поджидая судно с промысла.

А он слушал ее счастливое щебетанье и про себя думал, что оно не сегодня, так завтра может оборваться. И разрушит безжалостно ее мечты он сам. Будут, конечно, слезы, упреки. Но втайне он уже все решил — Темрюк не для него. И, оттягивая неприятные минуты объяснения с супругой, нетерпеливо выжидал подходящего случая,

который хоть как-то смягчит удар. Он подвернулся с неожиданной стороны. Зоя Васильевна тайком от мужа заказала шикарную форменную капитанскую фуражку с белокипенным верхом. И однажды преподнесла ему сюрприз.

— Вот теперь ты на настоящего капитана флота у меня похож, — надев на голову мужа фуражку и вся сияя, закружилась вокруг него. А он снял ее, переброшил с руки на руку, посмотрел на нее, как на вещь, которую не знают, куда бы лучше приспособить, и брякнул:

— Давай, Зоя, уедем отсюда!

— Ты о чем, Толя? — испуганно вздернулись у нее ресницы.

— Тошно мне здесь, понимаешь? Душа простора просит. Не для меня это.

Так вот и уехали на Камчатку.

В поселке Сероглазка Пономарева будто ждали. В шестидесятом году здесь произошло объединение трех колхозов в один, и он стал сразу самым крупным в стране по вылову рыбы. Незадолго до приезда Пономарева сероглазкинцы первые из колхозников полуострова заказали хабаровским судостроителям средней траулер. В других артелях только-только начал осваиваться океанский сейнер. Назвали этот траулер «Керчь». В правлении шли дебаты: кому лететь на Амур принимать судно. Появился в колхозе Пономарев, и как-то само собой все решилось. В Хабаровск полетел с давно подобранным экипажем он.

В первый свой рейс «Керчь» ушла на север, в Олюторский залив, где в то время набирал силу кошельковый лов сельди. Не успел траулер скрыться за воротами бухты, как в правление стали поступать сигналы. Жаловались на самоуправство Пономарева. Залетный капитан посягал на колхозную вольницу.

Дошли до правления слухи и о том, что Анатолий Андреевич на полпути к району промысла высадил судовую повариху. За что, про что — никто не знал. Сама повариха в Сероглазку не вернулась, затерялась на побережье, растворилась в матушке сезонщине. Она и в колхоз-то попала из этого кочующего племени.

Вернулась «Керчь» из экспедиции и привезла в колхоз клубок неразгаданных загадок и сомнений. Первый рейс не ответил на самый важный вопрос: выгодный этот тип судна для колхоза или нет? Но опрометчиво судить только по одному рейсу. Тем более первому.

Начиная со следующей путины, уловы «Керчи» стали подниматься круто вверх. Добрая молва о делах рыбаков траулера «Керчь» перешагнула границы полуострова, разошлась по стране. Как-то после возвращения из рейса Пономарева пригласил заглянуть в партком секретарь Василий Нестерович Семик.

— А у меня для тебя сюрприз, — сказал он, загадочно улыбаясь. И вручил томик «Поднятой целины».

Михаил Александрович Шолохов откликнулся на рекордные достижения теплыми словами поздравления. Видно, что-то сродни Давыдовскому уловил из скупых газетных сообщений писатель в святой и неистовой настырности камчатского рыбака.

— А что? Ты у нас тоже, считай, проложил первую борозду на колхозном траулере, — выразил вслух свою догадку секретарь парткома.

Орденом Ленина отметила Родина трудовой подвиг капитана Пономарева.

Но это была не самая заметная борозда рыбака на ниве развития камчатского рыболовного флота...

* * *

На судоверфи Николаева готовился первый в стране большой морозильный траулер для колхоза. И как родители нарекают своего первенца самым уважаемым в роду именем, так и рыбацкая Сероглазка назвала первый БМРТ своим фамильным именем — «Сероглазка». Капитаном этого траулера был утвержден Пономарев. И в

первом же рейсе он доказал — и большие морозильные траулеры не внаклад мощным колхозам.

Сколько он работал на «Сероглазке» — не знал поражений. В 1973 году установил рекорд. Громкий, на всю страну. А вслед и хмельной для Пономарева 1974-й. Слава приятно туманила голову, размягчала душу, делала покладистым и щедрым. Под эту покладистость ему и план подкинули побольше, чем на другие суда. Чего уж там, если отличаться, так всем, даже планом. И обязательства экипаж завернул покруче — надо же держать марку лидера! Вот в таком, угарном от славы состоянии и привел Анатолий Андреевич «Сероглазку» на пристипомные банки. На свои обжитые банки. Никогда в жизни не был он так уверен в удаче, как в этот раз. И какой же она оказалась колдуньей, рыбацкая удача! Рыбы на привычных местах, той рыбы, какую брали несколько лет подряд, не стало.

«Сероглазка» еще как-то умудрялась цедить понемногу, а весь флот тянул «пустыри». Опомнились капитаны камчатских, сахалинских и приморских судов, оценили обстановку — и деру из этого района. Конечно, с разрешения руководства.

Запоздало протрезвел и Пономарев. На этих крохах не то что обязательства, план ни за что не вытянешь. Анатолий Андреевич запросил колхоз. Добро на переход в другой район дали. Еще бы! Кто сам себе лиходея — станет сознательно обрекать колхозный траулер-кормилец на пролов, на заведомые убытки.

Но уйти на промысел хека, куда подался отсюда флот, Пономарев не успел. Задержала радиограмма из главка. Начальство Дальрыбы просило Пономарева остаться. И вот почему. Количество дальневосточных судов на лове хека ограничивалось договорными условиями с американцами. К этому времени к берегам Канады и Калифорнии уже успело стянуться столько траулеров, сколько и предусматривалось договором.

А куда еще направлять флот самой крупной и на этот раз неудавшейся гавайской экспедиции? На промысел минтая? На выработку муки из непригодных пород рыбы? Но там работают специальные траулеры-мучники. А что для прилавка?

Надо было как-то задержать часть судов. Пусть хоть понемногу берут пристипому. А вдруг там промысловая обстановка изменится к лучшему — и такое бывает. Но задержка флота должна быть как-то обоснована. Не заставляя же промысловиков бесцельно цедить воду! И тогда в качестве приманки решили использовать «Сероглазку».

«Учитесь у передового экипажа, — нажимно звучало ежедневно на капчасах. — Перенимайте его опыт. Берет же он как-то рыбу. Значит, она есть...»

Это адресовалось флоту экспедиции. А Пономареву, по другим каналам, недоступным для остальных капитанов, совсем иное: «Постарайтесь во что бы то ни стало своим примером удержать суда».

«А как же быть с большим планом? На пристипоме его не взять. В какое положение ставите лично меня, мой авторитет, престиж экипажа-рекордсмена?» — зажатый тисками интересов команды судна, колхоза и каких-то еще других, высших интересов, сопротивлялся, искал сочувствия, поддержки Пономарев.

«С планом видно будет, — убаюкивали его туманной надеждой. — Самое главное сейчас — держаться, не уходить».

И он держался. А что ему оставалось делать?

Здесь же, на пристипоме, закончил экипаж и свою девятую пятилетку. На год раньше. Первым в области среди БМРТ. Но праздником это событие не стало. Каждому было понятно, за счет чего это произошло, — сработал большой задел в прошлом. А рейсовое и годовое задания безнадежно проваливались.

Зашевелились, зашущукались по каютам временные. Те, кого соблазнили бешеные заработки сероглазкинцев в прошлом рейсе, — пришлось на пай по восемь тысяч рублей. Кто правдами и неправдами сумел устроиться на траулер в надежде на

повторение такого же форта. Теперь они почувствовали себя обиженными и готовы были обвинять всех и вся, а в первую очередь капитана, в том, что их грубо надули. Сдали нервишки и у некоторых своих, сероглазкинских...

И в эту трудную для Пономарева пору отпечатался в радиорубке ему приговор. На самом видном месте, как раз посередине ее, безжалостная рука броско, не пройдешь мимо, выжгла: «Этот черный 1974 год...» Пономареву порой казалось, что совсем не на полу это выжжено, а у него на теле. Как клеймо. В такие минуты он, кажется, физически ощущал острую боль от прикосновений огня. «Странно, откуда это? — ловил себя на этой мысли Пономарев. — Мне ведь никогда не приходилось испытывать такого?!»

До чего же возненавидел он в те дни радиорубку, куда должен был непременно по нескольку раз в сутки заходить. И всякий раз всем своим существом, каждым участком кожи чувствовать на себе взгляды. Разные. Со всеми оттенками. И понимающе-сочувствующие, и недоуменные, и откровенно-разочарованные, и злорадствующие. А как непередаваемо трудно было каждый раз переступить через эту позорную метку. Сколько Пономарев мысленно давал себе зарок выбросить из головы, не думать о ней. Он даже репетировал у себя в каюте: «Вхожу, не глядя вниз, делаю как ни в чем не бывало три шага... и уже в кресле-вертушке».

А на практике не получалось. Взгляд косился вниз: «Может, уже исчезла?» И он сбивался с шага. Если бы еще не следили за ним! И снова пытка, снова перешагивал, как через костер. Зубами бы выгрыз эту позорную метку на полу.

И что ему стоило дать команду боцману: «Закрасить, чтобы признака не осталось!» Но что-то удерживало его от этого шага. «Не дам повода для торжества: ага, сдали, мол, нервы у капитана! Пусть остается... Мой позор... Память о тех, кто был со мной... И кто предал... Напоминание о превратности рыбацкой судьбы, о том, что есть-таки на всякой жизненной монете... и орел и решка».

План «Сероглазке» в тот год «отрегулировали», учли ее «особую миссию» в гавайской экспедиции. И все равно до выполнения годового задания недоставало свыше десятка тысяч центнеров. И Пономарев после короткой стоянки в порту, замены экипажа снова в конце года ринулся на промысел. План выжал. Но зарубку себе сделал: надо быть осмотрительней, трезвее. Особенно в предстоящем рейсе. Он имел для Анатолия Андреевича свой глубинный смысл. В конце рейса «Сероглазке», первому в стране колхозному большому морозильному траулеру, исполнялось десять лет. А значит, и десятилетие его, Пономарева, капитанства на этом судне. И он, страшась открыться кому-либо преждевременно, втайне рисовал картину юбилея своего родного парохода. Лишь незадолго до отхода на промысел намекнул помполиту Игорю Васильевичу Никитину:

— Ну что, комиссар, может, пора готовить диаграмму? Десятилетний путь «Сероглазки».

Первый помощник, человек во всем осмотрительный и медлительный в действиях, испытующе посмотрел на капитана, стараясь вникнуть в подтекст сказанного им.

— Так как смотришь, а? — поторопил его Анатолий Андреевич.

— Человек я по сути своей не суеверный, так, — потянул раздумчиво резину Никитин. — И по должности мне не положено быть суеверным, так... Но... Не рано ли, Анатолий Андреевич? Ладненько пойдет все в рейсе, тогда — тьфу, тьфу — можно и рисовать. Сейчас же даже неизвестно точно, куда пойдём, что будем ловить.

— Теперь, пожалуй, известно. Обстановка начинает проясняться. Начинает... Только там мы должны рвануть, — скорее для себя, чем для Никитина, задумчиво обронил Пономарев. Он вслух подтверждал выношенное втайне.

— Так что, Игорь Васильевич, не рано. Рисуйте пока за девять лет. И оставьте место... для последней песни. Должны ее ладненько спеть. Должны... Кто ж лучше-то нас знает гавайские банки?

— Значит, опять на пристипому?... Интере-е-сно, — передернул плечами Никитин. — Где обожглись, туда же, выходит, и пойдём.

Многозначительно крикнув, осторожно, выказывая улыбкой доброжелательность своих намерений, напомнил:

— Раз уж про песню разговор повел, так, может, Анатолий Андреевич, пока идет ремонт, взять и того... Закрасить заодно в радиорубке? Как-то, согласишься, не вписывается та строка в задуманную тобой песню. Не из нее вроде, так?...

— Не-ет, оставить, — вырвалось у Пономарева со вздохом. — Для злости. Для вдохновения. Закрасим после рейса. Когда возьмем сотню тысяч центнеров сверх пятилетки. — Экипаж на это надо настраивать. Поэтому и открылся тебе...

...К выходу в рейс первоначальные тайные замыслы Пономарева о вылове сверх пятилетки сотни тысяч центнеров рыбы вызрели в коллективное обязательство. Об этом «кругляшке» и напомнил так горячо на партийном собрании Чекутов. Но не успели губы Пономарева расплзнуться в довольной улыбке, как тот же Чекутов своим оскорбительно-хлестким «надо отмываться» скомкал эту улыбку, превратил ее из довольной в виновато-смущенную, заставил пальцы капитана спасительно отыскивать мочку уха. «Не забыли «черный год».

Но чекутовская искорка обожгла не только Пономарева. От нее вспыхнул целый костер.

— Прогорим с качеством, никакие круглые цифры вылова нас не спасут. Или не отмоют, как тут выразился Евгеньевич, — сразу же сел на своего конька Долгалев. Он так усердно стал теревить слово «качество», повторяя его бесчисленно раз, что, материализуйся это слово, скажем, в рыхловатый камешек и окажись этот камешек в руке технолога, тот бы его наверняка в пыль перетер за время выступления.

— Только не языком надо его делать, качество, а железным порядком, — агрессивно заговорил третий механик Давидовский.

— Предлагаю такой же порядок завести, как и у механической службы. Сработали хорошо, сэкономили топливо, смазочные и — деньги на бочку, получай премию. Нет экономии — учитесь работать.

Он перевел дух, довольный выступлением, заставившим всех повернуться к нему, вслушаться.

— А с качеством рыбы что выходит? — продолжил Давидовский. — Ерунда выходит. Уравниловка. Нет ответственности всех и каждого. А точнее — ответственность неверно распределяется. Прошляпят, допустим, добытчики, передержат сырец на палубе или же обработчики проворонят, засортируют рыбу, а весь экипаж премией за это расплачивается, в случае браковки. Мы-то, механики, скажите, при чем, если кто-то проворонил? Да и все... — повел он взглядом по лицам сидящих в кают-компании, рассчитывая на поддержку. Но почему-то, как только Давидовский на ком-то останавливался, каждый опускал голову.

— Нет, в самом деле, товарищи коммунисты! Почему бы не узаконить нам такое правило: какая служба прозевала, сама за свою работу и отвечай карманом. Логично ведь? — упрямо навязывал он свою идею.

Какое-то рациональное зерно в ней было. И не выскажи это предложение Давидовский, может, по-иному оно было бы воспринято. А так по лицам угадывалось: никто не спешил соглашаться с хитроватым механиком. Сидят, все задумались. Пытаются мысленно отыскать подтекст сказанного Давидовским.

Не выдерживает паузы старший тралмастер, бросает с места:

— Как же ты о кармане своем всегда печешься! Готов под него все законы и порядки подогнать.

Звучит это запальчиво, едко.

— Валерий Николаевич! Это ж партийное собрание, так, — укоряюще замечает Никитин. — Вы что, товарищ Стаканов, выступить желаете?

— Да чего тут выступать! А-а, впрочем, считайте это за выступление. — И поднялся.

— Вот тут Давидовский за качество уж больно страдал, — иронично скривил губы старший тралмастер. — И, наверное, все уловили, куда он гнул? А кто не уловил — поясну. Основной смысл предложения Давидовского — обеспечить себе беспроигрышную лотерею. Непонятно? Разъясню популярно, — не мог отрешиться Стаканов от иронично-ядовитой тональности.

— Он уже тут говорил: экономит его служба горюче-смазочные — гони ей премию. Автономно от экипажа. Кроме нее к этому куску никто руки не протягивай. Не положено. Теперь он хочет такую же автономию подогнуть и под качество. Провалим мы этот показатель, значит, по-давидовскому, и умывайся команда собственными слезами. Сама же и виновата. Ну, а механики, мол, тут при чем? У них все крутилось, все вертелось. В том же случае, когда весь экипаж выйдет по качеству на премию — тут, понятно, отдай механико-судовой службе ее долю и не грехи. Как, прояснилась теперь гениальная суть предложения Давидовского? — спросил Стаканов. У всех. И тут же, не ожидая ответа, повернулся к механику:

— Нет, так, милоч, дело не пойдет. Нечего хитрож...

Осекся, огляделся виновато.

— Прошу прощения, хитрить нечего, — поправился, слегка покраснев.

— Ну, вот. Все понятно, — оскорбленно передернул плечами Давидовский. — Разговор об ответственности — одна болтовня. Снимают, выходит, с себя добытчики и обработчики ответственность за качество.

— Перестань темнить, Давидовский! — перебил Стаканов. — Холода не будет достаточно, тут чья вина, добытчиков? И дальше. Что, разве на подвахту не собирается ходить ваша служба? А кто знает, может, ты сам же во время подвахты, не намеренно, конечно, а по спешке, и подсуропишь брак.

— Или на перегрузке шмякнешь с плеча о палубу ящик с брикетами, изуродуешь его. Попадется он на дурной глазок приемщикам — и всю партию в нестандарт. «Чужая» рыба, не из нашего, планового, ассортимента попадет... Вот тебе и засортировка. А кто ее, эту чужую, пропустил нечаянно? На той же подвахте? Может, ты же, — посыпались реплики.

Страсти накалялись, и председательствующему, уже с помощью Никитина, с трудом удавалось гасить их, удерживать разговор в тех берегах, за линиями которых начинается не партийное собрание, а стихийная перепалка, какая бывает на перекурах. В конечном счете сошлись на том, что на всех этапах можно понести урон в качестве. И наоборот, избежать его. В решении собрания весь этот полемический спор отслоился в одном из пунктов: качество на совести каждого, ни одного рубля не должно быть потеряно на этом показателе.

Свинцовая вязкость океана уступила весенней голубизне. Под бортом же, в тени, поверхность воды выглядела фиолетовой. Хоть бери перо и макай. Ощутимо припекало солнце. Это означало — траулер прибыл в свой район лова.

А вот и первая по курсу банка — «Первомайская». Разумеется, обозначена она лишь на карте. Но попробуй ее еще найти. Под килем пяти-шестикилометровые глубины. И где-то одиноко должен подняться из этих глубин сказочный исполин, кровный брат Ключевского вулкана. Да, «ростом» он не уступает ему. Но и при такой высоте не дотягивается своей вершиной до поверхности воды на триста с лишним метров. Эта вершина и есть рабочая площадь для траления — банка. Пробежал над ней траулер каких-то десять минут — и снова бездонная глубина. Как выйти на эту крохотную макушку? Да еще трал поставить, не промахнуться.

— Бывает, десяток часов приходится крутиться, искать, — заметил Пономарев. — Даже нам. Хотя она у нас вдоль и поперек на карте разрисована.

— А можно как-то избежать потерь времени на поиски? — поинтересовался я у него.

— Почему нет, избегают...

— Каким образом и кто?

— Видели же, когда шли, соседей-японцев, — с ноткой досады заметил капитан. — Днем яркий флаг видно издалека, ночью — мигалка да еще радиобуй. Как на привязи япошки у банки, не потеряют ее. У нас же что получается? Забился рыбой днем, можно бы ночью в дрейф ложиться. Да боязно. Отнесет — снова будешь долго шараться, выходить на банку. Вот и гоняешь двигатель, топливо зря переводишь. На сдачу сходишь после перегруза, если один на банке работаешь, снова ее ищешь. Мы как-то примитивный буй делали — две бочки сваривали. Умудрился кто-то затралить их. Неужели нельзя наладить массовое производство? Крайне необходимая штука...

На «Первомайской» тралить не стали.

— Рыба здесь бывает позже, летом, а сейчас еще вода холодноватая. Надо спускаться южнее, — оправдал капитан переход на следующую банку — «Колхозную».

Сделали траление. Подняли немного.

— Может, попробуем еще? — предложил Чекутов. — Записюха вроде есть. Плевая, правда...

Да, жидковатая была запись. Даже по моим представлениям. По рассказам — «жирно мазало» на этих банках. От вершин подводных вулканов и до поверхности воды сплошняком клубилась рыба. Трал до грунта еще не доходил — и уже битком куток. Приходилось прыгивать на него и разрезать, выпускать часть рыбы. Иначе лебедка не тянула. А почему только над вершинами в слоях так плотно держалась пристипома, — всякие догадки ходили. Считали даже, будто химический состав воды над когда-то потухшими вулканами иной, он, мол, и держит рыбу. Вот так. Словно океан — лужа со стоячей водой. Потом уж ученые объяснили: от всяких хитрых завихрений водных потоков над вершинами вулканов растучнела пристипома. В местах этих завихрений и питательная среда будто создается богатая, и кислородом вода становится насыщенной. Потому и клубится рыба над вершинами. Вернее, клубилась... Вон, даже Чекутов и тот робковато спросил: «Может, попробуем?» И записью-то не назвал, а так — «записюха»...

— Как хотите. Рыба может быть. Но лучше не терять времени. Спустимся южнее, — откликнулся Анатолий Андреевич на вопрошающий взгляд старпома.

Как только Пономарев покинул мостик, Чекутов со вздохом сожаления кинул ему вслед:

— Жалко, не ночь. Ушел бы «папа» в дрейф — баю, баю, — мы бы и тут пощекотали чаленькую.

Евгеньевич, я заметил, явился на вахту в добром расположении духа.

— За переход успел проглотить восемьдесят страниц политэкономии, — похвастался он. — Интересно, застряло хоть что-нибудь?

Два года назад неожиданно для всех Чекутов поступил в Дальрыбвтуз. На очное отделение. Бывалый штурман с десятиклассниками сел рядом. Один-единственный на курсе. «Мне бы только якорь бросить. Зацепиться за грунт науки. А там можно и на заочное», — объяснял уход с судна в институт.

До третьего курса дотянул на стационаре, и тут позвал его Пономарев. Предложил Чекутову должность старпома. Постоянный старший помощник капитана на «Сероглазке» Петр Носич, выученик Анатолия Андреевича, был в отпуске. Чекутов согласился. И вот теперь он каждую свободную минуту отдавал учебе.

Переход к следующей банке был длинный, и Евгеньевич за вахту успел рассказать про свою одиссею, каким образом его занесло из Баку на Камчатку: после мореходки потянуло сюда.

— Заколебало на последнем этапе. Из Петропавловска направили меня штурманом в северный национальный колхоз Беккерера. До райцентра — Оссоры уже добрались. Совсем рядом, а оказии нет и нет. И тут все резервы иссякли. Что можно было загнать — загнал. И начались у меня прения. То бишь борения живота со смертью. На оссорских собак стал заглядываться. Облюбовывал, какая из них пожирнее. Болван, не знал тогда еще Камчатки. Кто бы отказал, если бы у кого одолжил денег?

Не помню уж как, но разговор перекинулся на литературу. Книги — страсть Чекутова.

— Увижу хорошую книгу — в дрожь бросает. Приходит пароход из рейса — парни на рыбалку, на охоту. А я по магазинам. Скудноватая добыча сейчас на прилавках. А на дому, бывает, перепадает. Один раз крупно даже повезло. Случайно парни адресок подсказали. Мол, мужик собирается ручкой Камчатке помахать. Уезжает, значит. И от лишнего груза избавляется. Книжки тоже распродает. Я к нему. Пошарил глазами по корешкам — есть что выбрать. Говорю ему: сколько, батя?

— Понимаете, — мнется, — мне бы хотелось с довеском их продать. А так бы и в книжный давно сплавил.

— С каким еще довеском? — спрашиваю.

— Если берешь, то только с телевизором.

— Сколько же он тянет?

— За триста отдал бы. Новенький...

— А книги?

— По моим подсчетам, примерно на полторы сотни.

У меня в глазах сразу деформация. Ничего себе, думаю, довесочек.

— Нужен он мне, телевизор, как протезу радикулит, — говорю как можно равнодушнее. А глаза от книг не отрываются. Мужик это тоже усекает.

— Дело хозяйское, — разводит руками.

Словом, оприходовал он меня и на довесок. Ладушки, говорю. На растопку для титана сгодится. Не выбрасывать же, батя, мне свой телек. На том и сошлись.

Окончательный выбор пал на банки «Астрономы»: большой, малый и средний. Выбор не случайный. Представлялся простор для маневренности. Переходы от одной банки к другой короткие: меньше часа. К тому же штурманы уже бывали здесь, знают характер грунтов, режим тралений.

Этот осмотрительный расчет капитана подтвердился первыми же уловами. Несколько тралений — и бункер в заводе был забит. Пристипома пошла в «карманы». А это уже задел. Ожил завод.

— Вот теперь можно считать тугрики, — резюмирует это событие Гена Черных, старый колхозник, как он себя называет. И не без основания. Рыбачил в Сероглазке еще до армии. На первых океанских сейнерах. Потом, после армии, на средних траулерах. Выучился на радиста — перешел на БМРТ.

Гена — сама улыбка. Ею он приметен, ею, редко когда гаснувшей, больше всего помнится. Время размывает отдельные черты лица, но она, белозубая улыбка, в глазах стоит, будто видел Черных вот только что.

С первой подачей сырца в завод в улыбке Гены заметно поприбавилось торжествующего значения.

— Когда я работал на средних судах, у меня шорох рыбы на палубе ассоциировался обычно с шелестом червонцев, — нарочито выпячивает он свою рационалистическую сущность. Так и чувствуется — задирается парень, на радостях охота ему вызвать спор на извечную тему; зачем рыбак в море ходит — за деньгами или за романтикой?

— А знаете, почему такие ассоциации пробуждают уловы именно на средних траулерах?

Я, конечно, знал, но пожал притворно плечами. Зачем лишать Черных праздника. Ведь тему его разговора питает большое событие — начало работы завода, начало морозки пристипомы.

— Так вот. На средних судах рыба сырцом сдается. Сдал ее в хвостах — и прикидывай в уме, сколько на твою долю в рублях придется. Очень простая арифметика! А на больших траулерах посложнее. На них рыбы пляски-свистопляски на палубе — скучные звуки. Всякое волшебство для меня они утрачивают. На БМРТ слух и душу ласкает шум завода. Валюту дает готовая продукция. Заработал валютный цех, поплыли по транспортеру в трюм ящики с брикетами — это уже твои тугрики.

Черных возбужденно потирает руки, подмаргивает:

— Нынче с валютным цехом порядок должен быть. «Сапогов» мало в этом рейсе. В основном свои. Или с опытом.

«Сапогами» на судах называют только что демобилизованных солдат. Чаще всего они попадают в заводы на обработку рыбы. И без навыков — много портачат да и темпы обработки медленно набирают. Пока-а втянутся...

— Посмотрите, как рванут наши парни, — посоветовал Черных.

Начать выпуск готовой продукции довелось бригаде Вадима Шковороды. Он вышел на «Сероглазке» уже в третий рейс. Да до нее не раз выходил в моря на судах камчатского «Океанрыбфлота». И все время обработчиком.

Рослый, мускулистый Вадим всегда выбирал себе работу по силе — занимался выбивкой брикетов. Занял он привычное место и на этот раз.

С нескрываемым нетерпением посматривает на укладчиков. Те сгорбились у мойки, зады оттопырили и — только руки мелькают.

Шлеп, шлеп, шлеп... и вот уже плотненько, зазора не найти, уложена ершистая, налитая свинцовой тяжестью рыбеха в противень. Провес, и с призывком, как снаряд в казенник, напористо вгоняется первый заполненный рыбой противень в кассету тележки. За ним второй... А дальше уже пойдём без счета. Дальше, за бесконечно долгий промысловый рейс их будет... тысячи, десятки тысяч заполненных пристипомой противней.

Пока же самые первые, и потому заставляют волноваться.

Вот уже и сама тележка двинулась к морозильной камере и исчезла в ней. За ней ушла и вторая. Нарастает напряжение...

Звучно клацают затворы. Камера, наконец, распахивается, и, укутанная клубами морозного пара, выкатывается — опять же первая в рейсе! — тележка с первыми замороженными брикетами!

— С холодом, парни, с холодом поаккуратней! — покрикивает заглянувший на завод рефмашинист Анатолий Калинин, черноусый, узкоглазый, с камчадальским лицом крепыш. — Приучайтесь с самого начала живо выкатывать. Меньше выпускайте килокалорий. Они из камеры, а вы им: рраз, и — зажимайте носы.

— Кому зажимать? — тарасит на него глаза молодой обработчик, новичок на судне.

— Им конечно, — лукаво подмаргивает рефмашинист. — Нахальным килокалориям. Как шофер автобуса пассажирам. Прется в переднюю дверь, а створки хлоп — и нос в тисках.

— Трави-и-ла, — тянет парень, слегка смущенный тем, что попался на крючок рефмашиниста.

Анатолий Калинин — самый ревностный хранитель холода на траулере. Прописан он на «Сероглазке» постоянно. На протяжении семи лет ни один рейс не обходился без него. Анатолий идет вслед за Пономаревым по стажу работы на этом судне. Да и дедморозовские качества в Калининне были открыты капитаном.

«Сероглазка» готовилась тогда в рейс. Неожиданно перед выходом списался машинист. Анатолий до этого работал на берегу. Трактористом. Выходил на промысел впервые обработчиком. В завод зашел капитан.

— Кто имел дело с техникой, близкой к нашей? — спросил он.

Калинин знал дизели, и выбор пал на него. Две недели с ним рядом стоял мастер. Ученик оказался способным, и Анатолию стали доверять самостоятельные вахты. По приходе судна из рейса он сдал на рефмашиниста.

С тех пор довелось Анатолию своими руками перебрать в рефмашинном отделении каждый винтик, познать, как он выражается, свое дело «от» и «до».

Время выработало у Калинина и свое особое отношение к холоду. В этом смысле его можно сравнить со многими, обычно пожилыми людьми, болезненно реагирующими на малейший сквозняк. Да какой там сквозняк! Чуть замешкаешься в дверях при выходе из квартиры и уже слышишь раздражительное: «Вы там что, заморозить меня решили? Тепло же уходит...»

Только у Калинина все наоборот. У него не тепло уходит, а холод. И он не чувствует это, а видит. Приборы показывают. Смотрит — пошел трюм градусы терять. Все понятно. Трюмный растяпа. Взъяренный, набросится на него, а тот оправдывается:

— На минутку какую-то отлучился. О чем разговор?

— И тысячи килокалорий — фьють! Поди их верни: губами надуй — наморозь. Это тебе не чай остудить.

До сегодняшнего дня — начала заморозки рыбы — рефслужба была вроде бы как в тени. Весь экипаж вроде при деле, а рефмашинист при рефмашине. А та тоже будто сама по себе. Но это так казалось. Потому что работа парней неброская. Не то что у штурманов или тральцов. И сами парни в глаза не лезли. Да и когда им лезть: на переходе они из рефотделения не выходили, доводили его до рабочего состояния. Ведь на берегу как смотрят — лишь бы главная машина крутилась да орудия лова были на борту. И выталкивают в море пароход. С остальным, мол, там, на промысле, разберетесь.

А я-то еще на переходе замечал: чего это в кают-компании на завтраках, обедах, ужинах не засиживается рефмеханик Шелковников? Как другие. Отстреляется побыстрому — и из-за стола. Редко когда появляется он и вечерами в кают-компании, где во время перехода от нечего делать прокручивали по несколько фильмов кряду.

— Боялись, не успеем с ремонтом, — признался Шелковников, когда я его спросил об этом. — Пароход старый. Трубы на ладан дышат. Изоляция тоже ненадежная. И компрессоров только три. На других судах — четыре. Трудно нужную температуру поддерживать. А без нее в этом районе нечего делать пароходу. Все тут на холоде должно держаться. Вот и старались. Сейчас — ориентация на полную нагрузку.

Только теперь до меня стало доходить: все задумки команды на этот рейс так или иначе упрутся в рефотделение. И как бы ни работали штурманские и траловые вахты — не они в конечном счете будут определять суточную выработку продукции. Все, все теперь будет в руках дедов-морозов из рефотделения. И тугрики на пай, о которых говорил Гена Черных, тоже в их руках. Только непонятно, почему Гена проигнорировал судовых дедов-морозов? Может, это от уверенности у него идет: а куда, мол, ему деваться, рефотделению? Раз есть рыба — нужно ее морозить. Это вроде само собой.

— Многие так считают, — заметил Шелковников, когда я ему рассказал о разговоре с Черных. — Им до лампочки, что мы по грани мощности ходим. Знаете, сколько по технической норме мы должны морозить в сутки?

Я не знал.

— Двадцать две тонны. А сколько намерены морозить? — интригуяще прищурил один глаз Шелковников. И, покручивая кончики угольно-черных усов, опущенных далеко книзу, стал ждать ответа.

История выжимания холода на больших морозильных траулерах мне была знакома, Уж что-что, а проектная мощность рефотделения с первого дня, как только появились эти суда на Камчатке, не устраивала рыбаков. И это понятно. Рыбы было, как говорится, навалом, а замораживать можно лишь какую-то часть суточного вылова. Поэтому и пошли уплотнять часы, минуты и секунды именно на этом самом узком участке производства. Догнали суточную заморозку до сорока тонн.

В южных широтах, понятно, труднее нагонять холод и держать его, прикидывал я про себя. Сделал поправку и на старый пароход, и на однорядную систему, и на сетование Шелковникова по поводу старых труб и негодной изоляции.

— Тонн на сорок, наверное, замахиваетесь? — сказал я. — Не угадал?

Шелковников молча мотнул головой. Перестал крутить кончики усов.

— Любопытно, из чего исходили? — спросил.

Я рассказал.

— В общем-то предположения верны. Но не учли двух моментов.

И снова прищурил глаз:

— Во-первых, меня капитан самого за сорок тонн попытается заморозить, как та злая мачеха из сказки свою падчерицу. А во-вторых, на опыт и энтузиазм моих рефмашинистов малость не добросили в своих прикидках. Словом, выжимать будем полсотни тонн. И не меньше. На то воля шефа.

— А на качестве не отразится?

— Будем стараться... Иначе... Всей команде тогда труба.

...С каким нетерпением ждал Шковорода, когда приступит к выбивке первого брикета из противня. А наступил этот момент, и вроде как растерялся. Взял противень, держит его перед собой на весу, будто не знает, что дальше-то с ним делать, куда его. Потом подкинул на руках, примериваясь, точно ли в этом впаянном морозом в металлическую форму рыбном слитке двенадцать килограммов? И, видно, убедившись в этом, занес его над плечом.

Разом с выдохом ухает о транспортер противень. Нырять в воду отставший от металла брикет и, уже покрытый тонкой пленкой глазури, увлекаемый планками транспортера, движется дальше, к укладчику. Тот водрузит его в картонный ящик. И когда три брикета плотно улягутся в нем, двинется ящик к обвязчикам. От них — в трюм. Теперь эта рыба будет считаться готовой продукцией.

Методично гремят о ленту транспортера противни с замороженными брикетами. Это значит — Вадим Шковорода вошел в привычную роль. Пот струйками стекает по обнаженной спине рослого бригадира. Он навязывает ритм укладчику, обвязчикам ящиков. И даже трюмный в холодном чреве траулера чувствует, как там, наверху, едва ворочаются или им жарко? По тому, с каким интервалом бегут по транспортеру ящики в трюм, чувствует.

Наконец последний противень грекает о металл транспортера. Опустели соты обеих тележек. Короткий перекур, до тех пор, пока снова не клацнут затворы и с клубами пара не вытолкнется из камер новая порция замороженной рыбы.

Бригадир неспешно тянется за рубахой и так же неспешно смахивает ею пот с лица, с груди. Потом уж приподнимает над головой чайник с водой, жадно припадает пересохшими губами к его носику, и движения кадыка выдают, какими большими, ненасытными глотками пытается залить он распаленную работой жажду. И лишь утолив ее, роняет первые слова, адресуя их мастеру Петрусявичусу:

— И что там получается?

— На выкат ушло ровно двадцать пять минут.

На лбу Шковороды прибавляется лишняя неглубокая складка. Но именно она вносит законченность в раздумье бригадира — обозначает недовольство.

— Негусто, — крутит он головой. — Надо еще уплотняться.

Но, как ни уплотнялись, за первую вахту сделали только восемь выкатов. Столько же осилила и заступившая вахта рыбмастера Юрия Винокурова. Кажется, это предел. Больше и невозможно. Но Пономарев лютует: «Потеряли форму! Входите же быстрее!»

И уже за вторую свою вахту Вадим Шковорода выводит бригаду «на заданную орбиту» — десять выкатов. При вторичной попытке одолевает эту норму и бригада Аркадия Салия из вахты рыбмастера Юрия Винокурова. С первого же дня эта, почти предельная, выработка продукции — пятьдесят тонн в сутки — становится обычным режимом работы. При этом постепенно спадает физическое напряжение обработчиков. Все больше выкраивается у них времени на передышку между выкатами. И чаще во время перекуров вырывается из дверей завода в судовые коридоры по-артельному здоровый, не вымученный гогот.

— Может, еще поджать? До пятидесяти пяти тонн, а? — спросил у Шелковникова заглянувший в рефотделение капитан.

— А какая нам разница, — ответил рефмеханик. — Сколько нужно, столько и будем морозить. Все равно технические нормы перекрыты вдвое. А значит — все инструкции нарушены. Разве только моим парням придется еще туже...

Пономарев топтался на месте, не зная, какое принять решение. Подергал мочку уха.

— Наверное, пока не нужно. Присмотрится начальство к сводкам — придавит. Вы, скажут, чего там, морозите пристипому или форшмак из нее делаете? Контроль установят. На перегрузах свирепствовать начнут, замерять температуру чуть ли не в каждом ящике. От греха лучше подальше, — вздохнул Пономарев: так уж ему не хотелось расставаться с возможностью увеличить суточный выпуск мороженой рыбы.

— Нет, точно, ну ее, — подвел он окончательный итог своим раздумьям и решительно махнул рукой. — Сил уже нет бороться, доказывать...

А по транспортеру в любое время суток движутся и движутся ящики с брикетами рыбы. Через каждые десять секунд в трюм ныряет очередной ящик. Ни одного часа перебоя за время работы судна в этом районе лова.

В коридоре на самом видном месте, рядом со входами в матросскую столовую и в завод, — доска показателей. На ней названия всех судов гавайской экспедиции. И цифры выловов, заморозки рыбы, выработки муки.

Каждое утро после капитанского часа Игорь Васильевич обновляет эти цифры. Делает это он с каким-то особым удовольствием. Кажется, не будь Никитин в таком возрасте, а тем более в должности первого помощника капитана, он, наверное, во время этих занятий язык кому-то озорно показывал бы: «Вот, мол, вам. Не хотели!»

Понятно, не проходит безразлично мимо доски и ни один рыбак. Остановится, пробежится взглядом по названиям, по цифрам, сопоставит все в уме и непременно подмигнет первому попавшемуся на глаза: «А наша-то берет». И уносит с собой горделивую улыбку. Еще бы, из восемнадцати больших морозильных траулеров — камчатских, сахалинских и приморских, — у «Сероглазки» самые высокие ежесуточные выловы. И предельная выработка готовой продукции: мороженой, муки и жира.

Южная ночь беспрепятственно вторгается на ходовой мостик. И, словно сильнодействующее снотворное, окунает в дремоту. А тут еще сама «Сероглазка» пребывала в эту позднюю пору в каком-то полусонном состоянии. Оно навевалось и убаюкивающе-размеренным глуховатым пощелкиванием самописца-эхолота, от которого исходил усыпляющий запах жженой бумаги, и тягучей подвижностью траулера. Идет с тралом, вязнет в каждой волне — кажется, на месте стоит.

— И охота вам маяться, — заметил Коля Курдюков, третий штурман. — Самое скучное время сейчас. «Покоса» все равно до утра не будет. Может, ревизор к концу вахты прихватит «покос».

Для краткости, что ли, этим земным словом штурман определяет самое уловистое время суток. На каждой рыбной банке свои часы «покосов». На одной нужно успеть схватить рыбку до захода солнца. Скатится оно за горизонт, и все — не жди пухленького кутка. На другой банке и режим работы иной. Тут не зевай утром. А в остальное время суток, как выражается тот же Коля, «непокосное», приходится пробавляться уловами скромными. По тонне, по две за траление.

В эту курдюковскую вахту тоже поднимали равные, как отмеренные, авоськи с рыбой — одна дележка и та рыхлая. Чудо не свершалось, и я уже собрался уходить спать, но остановил какой-то вкрадчивый голос в эфире:

— «Сероглазка»! Чем занимаемся? — запрашивал по рации «Ключевской».

Это он, оказывается, светился у нас за кормой.

Курдюков оторвался от фишлупы, подошел к переговорному устройству:

— «Ключевской»? Я «Сероглазка». Разве не видишь, чем заняты? Веревки, в основном, тянем.

— Что, что? Повтори, не понял!

— Тянем веревки, говорю, — уточнил Коля.

— А-а, я-асно... Поднимаете тоже одни веревки?

— Почему же? И на жареху вытаскиваем, и того более.

— Прибедняетесь, да? Вчера видел: из одной кормовой колонки у вас дым валил, а сейчас обе вовсю коптят. Жирок завязался, мучицу вовсю варите?

Эфир завистливо вздохнул.

— Это мы дым из трубы в трубу перегоняем, — уклонился Коля от прямого ответа.

То ли штурману с «Ключевского» хотелось почесать язык, заодно и сон за травлей разогнать, то ли тешил себя надеждой выведать у коллеги тайны удачливости «Сероглазки», но уходить со связи он не собирался. Даже курдюковская дипломатическая уклончивость насчет перегона дыма, от которой так и сквозило: «И чего ты прилип ко мне?» — не отбила у него охоты продолжать разговор.

— Подскажи хоть, как работаете? — продолжал с той же вьедливой настырностью.

— Очень просто. Запустил культиватор и пошел по кочкам, — снова отмахнулся шуточкой Коля.

На этот раз эфир замолчал надолго. А когда снова ожил, в тишине мостика пощечиной отозвалось:

— Спасибо, коллега! Очень доступно объяснил. Сразу понятно все стало...

Даже эфир не смог скрыть — каждое слово отдавало привкусом горечи, обиды. Всем нам, находившимся на мостике, стало как-то не по себе.

Начинался подъем трала.

— Подожди малость. Уходим на корму. После подъема свяжемся, — сказал Коля. И тут же извиняющимся тоном добавил:

— Только не обижайся... Если не приходилось тут работать, словами трудно объяснить. Сложная здесь рыбалка. Пристипомы стало, что на плешивой голове волос... И та вся на скалах старается держаться...

Бедственное положение «Ключевского» мы почувствовали еще до подхода к району лова — к гавайским банкам. Еще как только стали прослушивать капчасы. Он безнадежно отставал. За какие-то две недели работы «Сероглазка» обошла «Ключевской», потом все суда объединенной экспедиции и утвердила себя по суточным выловам в правах лидера.

Для большинства команд экспедиции это не было загадкой. В девятый раз привел судно в этот район опытейший промысловик Пономарев. А «Ключевской» попал сюда, как новичок впервые в столицу. И это сразу поставило их в неравное положение. Наверное, такое неравенство и пробудило во мне любопытство: как же, интересно, на «Сероглазке» распорядятся своим явным превосходством?

Ждать ответа на этот вопрос пришлось недолго. После первых удачных проб на капитанском чесе Пономарев со всем простодушием заявил: «Идите к нам. Банки, правда, небольшие. Но пять-шесть судов могут работать. На всех рыбы хватит».

На капитана недобро стрельнули взглядом свои, те, кто находился в радиорубке: «Набегут же сюда сразу?! И в очередь на траление будем становиться. И зачем себе жизнь усложнять?»

Как иногда в жизни нас настораживает неожиданная откровенность, так и пономаревское простодушие, видно, заронило у капитанов других судов подозрительность: «Чего это вдруг, при таком-то безрыбье, начал звать? Что-то тут не то!...» Суда не ринулись на зов, выжидали. Но «разведчик» вскоре появился. Покрутился вокруг нас, пока не подняли трал с рыбой. Прошелся борт о борт. Любопытные с бот-дека «разведчика» заглянули в «карманы» «Сероглазки» — отсеки вдоль кормы. Там тоже обнаружили запасец рыбы. Все, значит, верно — не обманывают. Пристроился траулер в хвост, пошел вслед за «Сероглазкой» на траление. И... засел.

Долго снимался с зацепа, изодрал трал. Вторично рисковать не стал — удалился на банку «Барабинскую», где толкался весь немногочисленный флот экспедиции. Там и грунт попроще, и банка попросторнее. И хоть уловы небольшие, зато надежнее чувствуешь себя. «А здесь ловушка. Пономарев поэтому, наверное, и приглашает всех», — к такому выводу, как выяснилось позже, пришли на судне, прибегавшем в «разведку».

Дошло до того, что Пономареву пришлось чуть ли не агитацию вести на капчасах.

— Не бойтесь зацепов, — уговаривал он. — Мы тоже, бывает, тралы рвем. Так на то они и тралы, чтобы их чинить.

Смельчаки все-таки нашлись. И «Сероглазку» начали обхаживать «Изумрудный», «Мыс Егорова» и «Ключевской». Последнего Пономарев пригласил, так сказать, персонально: «Приходите, возьмем над вами шефство».

Он появился уже к вечеру, в самое уловистое время, в старпомовскую вахту. Пристроился за «Сероглазкой». Прошел благополучно, без зацепов.

— Сколько подняли, «Ключевской»? — спросил старпом Чекутов.

— Пустырь... А вы?

— Тонн пятнадцать.

— Не может быть! Мы же шли корма в корму!

— Подойдите ближе, посмотрите.

Второй заход — и «Сероглазка» взяла десять тонн.

— Что у вас, «Ключики»?

Голос как из могилы:

— А-а, заворот досок. — И «Ключевской» надолго замолкает.

И вот он снова дал о себе знать уже в конце вахты Коли. Любезным получился диалог — ничего не скажешь.

С кормы мы возвращались втроем: штурман, рулевой Гуйдя и я. Коля недовольно посапывал. Рыбы подняли в кутке — кот наплакал. Тралмастер Николай Дука не удержался, отвесил штурману комплимент. «Что-то ты начал, Николай Павлович, тоску по тралу размазывать?» Обычно Коля не остается в долгу, а тут промолчал.

В устах рослого, крепко сбитого тралмастера даже вежливое «Николай Павлович» в этой ситуации прозвучало издевкой. Уж больно не шло такое обращение применительно к третьему штурману, низкорослому, щупленькому, по-мальчишески угловатому.

В мореходке, наверное, в последних шеренгах все годы просеменил или, как сейчас модно говорить, трусцой пробегал, подстраивая шаг под длинноногих. Встреться он на улице — ну ни дать, ни взять — пацан. На лице тоже, что ни черточка — глядится

подростком, и все тут. Зато обладал такой приметинной, полмира мужиков перебери — вряд ли копия отыщется. За эту приметину и приклеили парни ему кличку «Топорок».

Первое время я думал, что это его фамилия. Топорок да Топорок... И Коля, а еще реже — Николай Павлович. По-другому его и не называли при мне. Если бы еще заглазно так называли, может, и не сбивало бы с толку. Или взял бы когда и обиделся. Так нет же, к этой кличке он привык, как к своей второй фамилии. А виновато во всем было близкое сходство его носа с клювом топорка. Есть такая экзотичная птица в наших дальневосточных краях. Редкая, надо сказать, птица. На островах больше обитает. На Командорских островах тоже облюбовала она себе место. Часто киношникам и фотожурналистам позирует. Знает себе цену.

У Курдюкова достояние, сходное с клювом топорка, — не природное.

— Память светлого детства, — мило иронизирует он по этому поводу. — Перешибли по шалости пацаны форсунку. Исправить бы сразу — так это ж надо было операцию делать. Жалко родителям меня стало. Ребенку косточки ломать. Решили: приметней будет. А вырос — из-за такой форсунки чуть моя морская карьера не накрылась. При поступлении в училище медицинская комиссия задрбила. Или, говорят, операция, или море вам противопоказано. Дыхание, видите ли, при таком переломе ненормальное.

Рассказывая как-то мне об этом, Коля на самом драматическом моменте вздохнул: я уже знал о его раннем увлечении морем.

— Из-за чего серьезного бы... не так обидно было бы, — заметил он задумчиво. — Спасибо, хирург выручил, — снова светлеет его лицо. — Хирург сказал докторше-ухо-горло-носичке: «Такой у мужика нос, и вдруг испортить?!» — Последнюю фразу Коля сопровождает своим коротким довольным смешком, как бы радуясь шутке хирурга, который так его выручил в критическую минуту. И тут же стеснительно наклоняет голову: может, не следовало об этом?

Водится за Курдюковым и еще одна слабость — вернуть в эфир что-нибудь позаковыристее. В рыбацкой среде это ценится. Сразу выдает бывалость. Салаге надо еще язык набить на такой терминологии. Ввернул Курдюков и сегодня. Ничего вроде получилось насчет всяких там веревок, культиваторов... Не грубо, дипломатично довел до немоты въедливого коллегу с «Ключевского». Но, странное дело, вместо обычного в таких случаях удовлетворения — ходил все время и маялся. Выходит, в самого себя заряд всадил. «Нашел, над кем изгаляться, — терзался Курдюков. Попытался представить на месте штурмана с «Ключевского» себя. — А вдруг еще в первый рейс тот вышел? Тралвахта волком смотрит при каждом пустыре или зацепе, кэп поедом ест... И я еще тут: веревки тянем, тоси-боси, дым из трубы в трубу перегоняем».

Зашли на мостик. Курдюков бесцельно потоптался у эхолота. Прошелся задумчиво несколько раз ладонью по короткой, как у подростка, челке. Неожиданное курдюковское «га-а» разрядило настороженную тишину. Это у него такой короткий смешок. Гакнет, обнажит крупноватые зубы и тут же спрячет их. И голову стеснительно вниз, будто сделал что-то неприличное. Так получилось и в этот раз. Стушевался. Промолчал. Резковато мотнул головой, словно избавлялся от какой-то навязчивой мысли. Вздохнул.

— Нетактично, наверное, мы с тобой, Андрюха, обошлись с «Ключевским», — освободился, наконец, он как от занозы. — Как считаешь, а?

Гуйдя, рослый и стройный молдаванин, шевельнул плечами. Не знаю, мол.

Гуйдя говорлив, как устрица. Схохмит кто-то на мостике удачно, от ржания, кажется, приборы позвякивают. И только голоса Гуйди не слышно. Словно его и нет. Глянись на него, а он, застыв у рулевой колонки, тоже заливается. Только беззвучно: лишь зубы обнажены, да глаза росянисто поблескивают.

— Нет, надо нам, Андрюха, искупать свою вину, — вздохнул Курдюков, приняв окончательное решение. — Давай вызывай «Ключевской».

Но тот опередил, сам вышел на связь.

— Для начала познакомимся, — как-то даже обрадованно воскликнул Курдюков. — Меня зовут Николай Павлович. А теперь — к эхолоту. Поизучаем банку. Что у тебя сейчас рисует?

Сверил сказанное подопечным с записью на своем эхолоте.

— Ясненько! Вот теперь слушай меня внимательно. И фиксируй.

И Курдюков стал объяснять, каким курсом нужно выходить на банку, когда сажать трал, в какой момент подрывать его.

Вахта подходила к концу.

— До встречи! — попрощался он. — Не стесняйся, в случае чего, выходи на связь. — Чем могу, тем помогу.

Водворил на место переговорное устройство. Фу-у! — выдохнул, как груз тяжкий с плеч сбросил.

Пока капитаны спали, вахты налаживали между собой контакты. Теперь уже ревизор «Сероглазки» Жорж Ткачев водил за собой «Ключевской». Но это была не рыбалка, а скорее ориентировка на местности. Ткачев — единственный на траулере штурман, незнакомый с коварными нравами здешних банок. Он прибыл к Гавайям в этой роли впервые.

Днем его опекал сам капитан. В свою ночную вахту, когда «папа» ненадолго «уходил в дрейф» — отдыхал, Жорж учился ходить на собственных ножках. И частенько спотыкался — садился на зацеп или дырявил трал. А утром отхватывал «чих-пых» от капитана. И поэтому на первых порах осторожничал. Но откуда было знать на «Ключевском» об этом? Признаться б Жоржу самому: братцы, я сам еще, как слепой котенок, так не позволяла гордость. И «Ключевской» доверчиво, ровно на привязи, бродил за «Сероглазкой».

А тут еще неожиданно подпрыгнули акции Ткачева. За траление поднял десять тонн. В ночную вахту такое — редкость! Жорж сам испугался нежданно-негаданного везения.

Связался на радостях с «Ключевским».

— Как у вас?

— Заворот досок... А вы подняли что?

— С десяток тонн!

Подавленность в голосе коллеги ледяной водой плеснулась на возбужденность Ткачева и остудила его.

— Да-а, не повезло вам, — протянул сочувственно. И угодил в ноющий волдырь.

— Эхма. Если бы только сейчас. Уже месяц не везет... — И после паузы — Что намерены делать дальше? Пойдете на заход?

— Нет, буду уходить отсюда. Опасно! Забрел сам не знаю куда. Колени дрожали, пока не поднял трал, — признался Жорж. — Снимаюсь на свою банку. Извините. А вы куда?

— Будем таскаться за вами, Кэп приказал не отставать ни на шаг. Да и что нам остается теперь делать...

Может, были виноваты ночь, тишина, чужое, какое-то совсем непривычное небо, но такой вдруг безысходностью повеяло от слов штурмана с «Ключевского».

Хриплым голосом ожила переговорная труба. Ткачев метнулся к ней.

— Слушаю, Анатолий Андреевич... — И тут же, скособочась, воткнул ухо в резиновый раструб. Я не слышал, о чем говорил капитан, но по ответу Ткачева догадался — тот интересовался делами «Ключевского».

А через несколько минут хлопнула дверь. Зашаркали в полутьме шлепанцы. Скосившись на ходу глазом на компас, Пономарев прошел к эхолоту. Изучающе уставился в ленту. Большим и указательным пальцами правой руки зажал кончик носа

и начал теревить его. Это у него такая манера: когда раздумывает у эхолота, или раздаивает мочку уха, или дергает кончик носа. Оторвал взгляд от эхолота, всмотрелся в небо. И сердито буркнул:

— Куда вас несет! Не туда же идете.

— Как не туда? — ошарашенно уставился штурман на капитана. — На курсе 30 градусов.

— А надо 270.

— Так мы же...

— Что «мы же, мы же», — ворчливо передразнил. — Говорю, значит, знаю. Ложитесь на этот курс.

Шлепанцы прошаркали к двери. И он удалился.

Жорж недоверчиво покосился ему вслед.

— Чего это он? Из «дрейфа» не вышел еще, что ли? Или приснилось ему?

На всякий случай вызвал «Ключевской». Уточнил, каким курсом тот идет. Ему ответили. И он заходил расстроено по мостику. В такт шагам звонко шлепал по лбу, приговаривал:

— Надо же «папа»! Как в лужу... Ну, зверь, «папа», ну, зверь! Теперь опять при случае скажет — дорог не знаете. Указательные знаки вам ставить, что ли, от банки к банке?

Снова хлопнула дверь и зашаркали шлепанцы.

— Передай тралвахте, пусть зачищают от рыбы «карманы». Ставить трал не будем. Поработаю с «Ключевским», — сказал капитан.

Вызвал «Ключевского».

— Прижимайтесь к нашей корме. Готовьтесь к тралению. Буду ставить вас на рыбу по своему эхолоту. Команду слушать внимательно. Траления будем делать на глубине четыреста метров.

— Ясно, — ответил штурман с «Ключевского». И тут же высказал робкое сомнение: — По «Кораблю» работать, что иероглифы читать... К вам бы на судно поучиться?...

— Не спешите. Не выйдет так, поищем другие пути. Пока не наладится дело, не оставим вас, — обнадежил Пономарев.

— Отдавайте трал и за мной.

— «Сероглазка»! Ваера травятся!

— Хорошо! Как вылезешь на плато — не ходи влево. Там камни.

— Ясно, спасибо.

— Как глубина?

— 370!

— Так держать! А мы начинаем сваливаться в тартарары.

Как только судно проходит конус подводного вулкана, над которым держится рыба, резко падает глубина. Сразу до пяти тысяч метров.

— Продолжай идти тем же курсом, — напоминает Пономарев. — Запись нормальная. Время тралений — пятнадцать минут.

— Ясно, «Сероглазка».

Прошелся по мостику.

— Должна быть у них рыбка, — не то себя убеждал вслух, не то нас успокаивал. Подергал кончик носа, пощупал, на месте ли мочка правого уха, снова вышел на связь: — «Ключевской»? Рыбу возьмете наверняка. Много не обещаю. Но вы не отчаивайтесь. Такое сейчас время. И мы понемногу берем. Самое главное — набейте руку, изучите проходы на банке. Учтите — это самый легкий проход.

Только после этого он успокоился. Подался на корму проверить, идет ли зачистка «карманов».

Какими томительными кажутся эти пятнадцать минут. А как для тех, кто сейчас на мостике «Ключевского»? Каждую секунду ждут: вздрогнет корпус и по натянутым в струнку нервам тупо режет сигнал: «Зацеп?»

Над океаном занималось не по-южному хмурое и прохладное утро. Как быстро может меняться погода! Вчера до самого заката немилосердно калило солнце, напоминая о близости экватора. Оно загоняло в тень даже самых жадных к загару парней, уже успевших «поинять», сбросить камчатскую бледнокожесть. До полуночи изнуряла духота, и из каждого иллюминатора торчали приспособленные под вытяжные трубы картонные ящики для тарировки мороженых рыбных брикетов. И вот, пожалуйста, дохнуло таким родным и близким! Обозначились бы для полного сходства на горизонте дымящиеся конусы Корякского и Авачинского вулканов, и можно было бы подумать — находимся где-то на траверзе Петропавловска-Камчатского.

Бирюзовый цвет воды уступил свинцовому. Слово распустившиеся бутончики хлопка, забелели гребешки волн. Траулеры и те утратили свою осанистость, стали какими-то совсем крохотными, приземистыми, будто их кто-то сдавил: над поверхностью воды выделяются одни надстройки, будто и вовсе у них нет бортов. И «походка» у них совсем не та — словно на месте переваливаются: то нос так зароеется в волну, думаешь, завязнет намертво; то корма тяжело грузнет — по самую бортовую кромку. Смотришь на суда, и заполняет тебя ощущение затерянности.

На мостике из открытой настежь двери уже вырываются эмоциональные всплески, сопровождаемые прихлопыванием в ладоши, кастаньетным прищелкиванием, будто кто-то на мостике выплясывал зажигательную хабанеру. И звонкие причмокивания, и самые невообразимые междометия.

— У-ух ты-ы!... Непревзойденная!... Ну давай, давай, чалая! Давай, моя милая, толстоспиная! Прими мой страстный, воздушный... Ум-umm...

Все понятно. На вахте старпом Чекутов. И, как всегда, в своем репертуаре. Как всегда, в ударе! Теперь начнется спектакль на мостике. А это — первый акт: объяснение Александра Евгеньевича с эхолотом, очевидно, прописавшим рыбу. Только Чекутов может разговаривать с пощелкивающим металлическим коробком, шибаящим в нос запахом подожженной бумаги, как с живым существом, и вот так бурно реагировать на каждый обозначившийся на ленте намек на запись пристипомы. Для него и намек всегда обозначает «самую непревзойденную» запись.

Вернулся с обхода судна Пономарев. Прикинул по времени: пора! Вызвал «Ключевской».

— Подняли трал? Сколько?

— Тонн шесть!

В голосе уверенность.

— Вот так и работайте. Мы побегим на частичный перегруз, а вы тут не теряйте банку, будьте на ней хозяевами. Вернемся, займусь вами вплотную.

— Понято. Спасибо!

Разбудила команда по судовой трансляции. Уловил только последнюю фразу: «Собраться по левому борту». Кому, зачем собраться? Может, тем, кто уходит на «Ключевской?»

После перегруза мы вернулись на свои банки. Здесь уже работали шесть судов. А точнее — мучились. Одни траулеры, словно неуклюжие машины для укатки дорожного полотна, медленно ходили взад и вперед, пытаясь высвободить трал из подводного плена. Другие, точно между ними произошла размолвка, поотворотили носы в разные стороны от курса траления и не двигались. Видно, только что засели, и штурманы выходили из шокового состояния — обдумывали, как сняться с зацепа.

Уроки Пономарева пригодились «Ключевскому» лишь для работы на одной из банок, более доступной. Но рыба концентрировалась на ней совсем на короткое время. Не успел взять — жди снова своего часа чуть ли не сутки. У кого хватит терпения на это? Пробовал маневрировать, как и «Сероглазка», перебегать с банки на банку. И горел. Незнакомые проходы были ему не по зубам.

Затянувшиеся неудачи подшефного стали выводить Пономарева из равновесия, ранимо задевать его самолюбие. И Пономарев не выдержал.

— Надоело! Кончать надо с этой волянкой, — в сердцах заявил он после очередного «пустыря», схваченного «Ключевским».

Вызвал на мостик Курдюкова и старшего тралма-стера Валерия Стаканова.

— Уляжется чуть зыбун, спускайте бот и — на «Ключевской». Разберитесь там, наконец!

Белесые брови Стаканова удивленно взметнулись. Смеется, что ли, капитан?

— Вы же знаете, сутками торчу на корме. Свой трал и кутки не успеваем чинить да менять, — предупредил Стаканов Пономарева на тот случай, если тот вдруг решил всерьез его направить на другое судно. — И потом, слабенькая же у меня одна вахта...

Но капитан не дал ему договорить. Сморщившись и обыченно выгнув шею, замотал головой, будто освобождая ее от чего-то ненужного. Вывернутой от себя ладонью стал энергично отмахиваться, словно разгонял внезапно нанесенный ветерком въедливый дым. И этим жестом было сказано все. Но как-то все-таки надо было объяснить свое решение, которое старшему тралмастеру показалось действительно странным. Взять и оголить самый горячий участок на судне?! Во имя чего?

— Сам буду чинить... Справлюсь не хуже тебя, — наконец, как в формовке, отлил капитан свои выношенные давно намерения.

С «не хуже» он перехватил. И Стаканов, вспыхнув, покраснел. Не надо было лишний раз подчеркивать.

Сегодня на больших морозильных траулерах не принято, чтобы капитан при порыве трала бежал на промысловую площадку и вместе с траловой вахтой гнул, ковыряясь игличкой в порванной дели. Разгон дать виновникам порыва тут же, с кормового мостика, или нервно запрашивать корму из рубки: «Ну скоро вы там?» — это другое дело.

Пономарев — рыбак старой закалки. И рыбалка для него начиналась и проходила больше через руки, через мозоли. Отсюда и выработанная годами привычка. Еще и трал не весь выползет на площадку, а он уже начинает вытанцовывать на мостике, нетерпеливо вышагивать вдоль него. Стрельнет пару раз вниз пальцем: «Вон, смотрите, в левом крыле дыра!», и тут же зачастят его шаги по трапу. А через какие-то секунды уже видишь его сгорбленную фигуру на вечно скользкой площадке.

Траловая вахта на больших траулерах — это особая каста. Не любят тральцы вторжения посторонних в свои владения. Да и по технике безопасности посторонним доступ на промысловую площадку закрыт. Куда ни шло, поогрызаться с орудиями с кормового мостика капитаном или вахтенными штурманами. Но когда они начинают совать нос не в свое дело, тут уж извините. Пономарева на промысловой площадке терпят. Сопят, но терпят. И даже с завистью косятся на проворную игру иглички в его руках.

Одна из вахт добытчиков на судне была в самом деле, как и сказал Стаканов, слабоватой — много оказалось в ней новичков. Да еще из тех, кого Пономарев называет «заблатненными». Или «академиками».

Кто такие «заблатненные» — понятно, это устроенные на пароход по благу: сходить в один рейс и зашибить деньгу. Но они же и «академики», если их образовательный уровень выше среднего. Получило прописку на «Сероглазке» это слово из научного лексикона после одного случая. В траловой вахте проходили стажировку два парня — инженеры, выпускники Дальрыбвтуза. А поскольку работа на

промысловой площадке признает только силу, сноровку, быструю реакцию и совершенно безразлична к образовательному цензу, поскольку ей, этой работе, больше сродни акробаты из цирка, то стажеры часто становились жертвами своей учености.

— Да вы что, «академики», ходить разучились, что ли? — вырвалось как-то у Пономарева, нетерпеливо наблюдавшего с мостика за неуклюжими действиями стажеров.

Те разом по-своему откликнулись. Задрали головы вверх и тут же, указав извиняющимися жестами на качающуюся скользкую палубу, чуть ли не в один голос выкрикнули: «Мокро же, видите?!»

— Мокро было, когда в пеленки вас кутали. Теперь-то чего мокро? — бросил Пономарев.

Так и прижилось на судне это слово — «академик». Со своим особым значением.

С первых дней промысла получал от капитана за промашки вместе с этим «титолом» и все подобающие в таких случаях «почести» тралмастер Солганин. Он только закончил рыбный техникум и вышел в рейс в этой роли впервые. Остриженный наголо и успевший отпустить жидкую бороденку, Солганин напоминал татарина-степняка.

— Ну, Солганин, ну, «академик», — задыхаясь, то и дело покрикивал с кормового мостика Пономарев. — Что ты ходишь, будто руки потерял? Обнимись хоть с кутком, не укусит.

Голос, настоящий голос тралмастера у Солганина еще не прорезался. От робости не умел он, как другие, задрав голову, выдать ответную тираду. И только зло огрызался большими, навывкате глазами.

Его вахта как раз и была менее надежной. Ее и опекал больше всего Валерий Станков. За эту «ненадежность» он и пытался было зацепиться, когда капитан высказал свое решение послать его на «Ключевской». Не вышло.

Вместе со Станковым и Курдюковым решил пойти и я.

И вот эта команда: «Собратся по левому борту».

Рванулся с койки и заскрипел зубами. Прихваченная ожогом солнца кожа на икрах, пока спал, успела сократиться. От резкого движения она, кажется, треснула сразу в нескольких местах. Враскоряку выбрался на шлюпочную палубу. У левого борта уже покачивался бот и по штурмтрапу в него ловко скользили парни «Сероглазки», подхлестываемые старпомом Чекутовым: «Поживей шевелись! Чалая хвостиком на ленте эхолота заманчиво помахивает — не дождется. А мы тут траление теряем».

Широко расставив ноги, чтобы штанины не касались воспаленных икр, и свесившись через леера за борт, по которому похлестывал качающийся штурмтрап, я все же не мог принять решение. Теперь у меня не только поза, но и мысли были «враскоряку». Камчатская жадность на солнце сгубила, клял мысленно себя. Куда мне теперь такому карабкаться по трапам.

— Ну, кто еще идет? — спросил старпом, стрельнув взглядом в меня. И это все решило. Превозмогая боль, занес ногу над фальшбортом. Еще раз ругнул себя и старпома, когда уже спускался. Хоть бы предупредил заранее. Сорочка-разлетаика на голом теле, шлепанцы на ногах — и в таком виде предстану на судне. А тут еще шлепанец сорвался с ноги и полетел вниз. Этого не хватало! В мгновение явственно увидел себя входящим в каюту капитана «Ключевского»: на одной ноге шлепанец, другая... босая. Нелепее ничего придумать нельзя.

Внизу, в боте, смех. Шлепанец упал не в воду, а в бот. Отлегло.

На «Ключевском» встретили нас недружелюбный лай пса и цепкие изучающие взгляды хозяев судна. Капитан Алексей Иванович Шокола, приземистый, среднего возраста мужчина с пышной копной курчавых русых волос на голове, еще по пути в

свою каюту улучив момент, шепнул, недоверчиво рассматривая идущего впереди Курдюкова:

— Ну как он?

Я догадался. Уже сам вид штурмана заронил семя сомнения в капитана. «Прислали какого-то пацана...»

Я многозначительно выгнул большой палец: во, мол! И Шокола понятливо вздохнул: посмотрим, дескать.

У себя в каюте он коротко ввел нас в обстановку на судне. Тема исчерпалась несколькими фразами:

— «Карманы» давно выветрились от рыбьего запаха. На переговоры с городом идешь, будто на пытку. Не знаешь, как уж и оправдываться. От одного вопроса: «Почему другие ловят?» — язык немеет. И дернуло же меня согласиться пойти на этот пароход. В жизни не попадал в такой переплет.

Капитан говорил правду. До «Ключевского» он работал на «Математике». И ему в самом деле везло.

— Вот так и живем,— вымученной улыбкой заключил Алексей Иванович. И, выражая явное нетерпение, потянулся к телефонной трубке.

— Скоро там кончите возиться с тралом?

Наконец пошли на заход. На мостике все штурманы.

— Засекайте все, что будет делать... Николай Павлович, — наставляет своих капитан. — Вам же потом работать.

На ленте эхолота начал «рисоваться» рельеф дна.

— А вот эта загогулина, — ткнул Курдюков пальцем в выступ, — и есть то самое место. Надо «сбрить» тралом эту загогулину. Рыба, видите, держится над ней. Только характер записи у вас какой-то не такой, как на нашем эхолоте. Размазанный какой-то...

— Трал посажен, — сообщил тралмастер с кормы.

— Спасибо! — Курдюков занимает привычное место у фишлупы, зарывает лицо в резиновом раструбе прибора.

Эхолот не прописывает камни на грунте. Слишком маленькие они для его чувствительности. А вот фишлупа фиксирует их. Только надо наметанный глаз иметь, чтобы в сверкании импульсов уловить тот, который означает не живность, а именно камень.

«Камушки» и есть те самые крепкие орешки, которые долго не удастся раскусить промысловикам, не знакомым с характером лова в этом районе. До секунды нужно все рассчитать, в какой момент оторвать трал от грунта и потом снова, после «прыжка» через упрятанный на глубине в четыреста метров скользкий «пенек», посадить его.

— Как доски? — спрашивает Курдюков корму.

— Стучат.

— Как стучат? Тоньше надо чувствовать, как музыку.

— Сильно стучат.

Это на корме тралмастер или добытчик, зажав руками ваер, по его вибрации определяет «поведение» трала на грунте.

— Ясно. Будьте внимательны. Начнем подрывать трал.

Шаг винта вводится по команде Курдюкова в нужный для подрыва трала режим.

Напряжение нарастает. У каждого из нас на лице одно: пронесет... или сядем на камни?

— А сейчас как доски?

Курдюков лишь на какое-то мгновение откинет голову, скользнет взглядом по записи на ленте эхолота, и снова лицо его тонет в резиновом обшлаге прибора. Он даже спикер умудряется просунуть туда же, к губам, чтобы не отрываться от фишлупы. И все команды идут оттуда, из этого резинового углубления.

— Слабо стучат доски, — отвечают с кормы. Голос неуверенный.

— Хорошо! Так и должно быть.

«Пронесло, значит».

Коля для всех нас, находящихся на мостике, в эти минуты все: бог, волшебник, мудрец, — кто угодно. От каждого его слова, жеста, от интонации изменяется наше внутреннее состояние. Стоит ему произнести команду чуть резче — и мы впиваемся глазами в его торчащий из раструба затылок. Почудится тревожная нотка в его голосе — и екает сердце, съеживаешься в недобром предчувствии.

А что чувствует он, этот щупленький, низкорослый парнишка, в эти минуты? Каково ему ощущать на себе наши выпытывающие взгляды и эту сладостно-тяжкую ношу людских надежд? Он даже не может, не имеет права произнести самые обычные слова утешения: «Не волнуйтесь, все будет в порядке». Не имеет права, потому что сам пока ничего не знает. И так же, как мы все, всего лишь надеется... И будет надеяться до последней секунды, до тех пор, пока не покажется на слипе куток.

Он появился совершенно пустой...

Уходили с кормы молча. Каждый чувствовал себя ребенком, которому пообещали купить приглянувшуюся игрушку и почему-то в последнюю минуту передумали. Это Курдюков-то, застенчивый парнишка Курдюков, оказался таким нехорошим, причинил всем нам, взрослым детям, такую обиду? А мы-то думали, что он в самом деле волшебник.

Только на мостике Коля обронил раздумчиво:

— Странно... Что же это была за запись?

Связался с «Сероглазкой»:

— Жорж, что поднял?

— Пустырь!

— Запись была?

— Нет...

Курдюков облегченно вздохнул.

— Наверное, эхолот у вас слишком чувствительный, — сказал капитану. — Пишет не рыбу — какую-то муру. У нас ее не пишет. У нас или рыба, или ничего. А тут какая-то мазня была.

И снова заход на траление. Снова тягучая тишина на мостике, настороженное выжидание. И снова неведомая сила пробует нервы на вытяжку, на разрыв. Хорошо, хоть вахтенный, третий штурман Владимир Журавлев, как-то расслабляет натянутые струны.

— Закон подлости, — бросает он в напряженную тишину. — Как к нулю, так туманом все заволакивает.

К чему это он? Непонятно! Лишь бы не молчать? А-а, вон к чему...

— Это все из-за тебя, — деланно ворчит Журавлев на рулевого.

— Я-то тут при чем? — недоуменно таращит тот глаза.

— Опять с красными глазами на вахту вышел.

— Сплю, как серая лошадь. И сам не знаю, отчего краснеют, — оправдывается простодушно.

— То-то и оно, что как лошадь, — хмыкает Журавлев.

На мостике небольшая разрядка. Потом опять тягучая пауза. Снова разрядка.

— Акулю пасть заснял, — продолжает рулевой. — Сила получилась! И как я, болван, мог перепутать. Вместо проявителя в закрепитель пленку сунул. Та-ко-о-ой кадр накрылся!

— Нашел о чем жалеть, — хмыкает капитан. — Вот если бы ты пристипому снял, хоть на снимке видели бы, какая она...

Курдюков, видно, не сразу улавливает эту пропитанную горечью иронию и отзывается из раструба фишлупы своим коротким «га-а-а». Отрывает от прибора

голову, смотрит на Шоколу, и улыбка на его лице тает. «Так это ж и ко мне относится: «Хоть бы на снимке видели, какая она», — доходит с опозданием до Коли реплика капитана, и он, как в укрытие, поспешно прячет свое лицо в раструб.

И на этот раз прошли без зацепа. И на этот раз не посеребрил океан куток. С кормового мостика уходили, словно с кладбища после похорон близкого.

Валера Стаканов, все время торчавший на промысловой площадке, а теперь заглянувший на мостик, подвел итог:

— Бесплезно! Надо утром попробовать.

Утром старпом Усольцев поднял три тонны. Вслед за ним Курдюков — две тонны.

Ушли в радиорубку на связь с городом.

— Что с «Ключевским»? — уточнил после доклада флагманского капитана заместитель начальника камчатского управления «Океанрыбфлота» Королев.

— Пока не ловит. На него высадились специалисты с «Сероглазки». Наверно, разберутся...

«Сероглазка» за вахту старпома Чекутова заловилась по горло. И это полоснуло ножом по сердцу.

— Слушай, Курдюков, что ты там марку нашу позоришь? И... меня, — недовольно пробубнил по эфиру Пономарев.

Завтрак по распорядку кончился. Но мы, оказывается, были вне распорядка. Буфетчица выказывала нам всяческое внимание. «Тоже от рыбы живет», — расценили мысленно. А может, это у нее от природы? Отшутились: «Зря хлопчете, не заработали».

— Ничего-о-о, мальчики. Еще заработаете, — успокоила.

И «заработали», Траление подходило к концу. Вот уже оторвали доски от грунта, дали полный ход. И тут-то вздрогнул корпус судна. Слух резанули звонки. Курдюков откинул от неожиданности голову от фишлупы.

— Зацеп?! Почему? На подъем же уже шел трал? — На его лбу выступили росинки пота.

Шокола прокомментировал сигнал о «зацепе»:

— По ночам от этих звонков вздрагиваешь и лупишь кулаком. Проснешься — руки болят. Вот так привыкнешь, и дома от телефонных звонков будешь вздрагивать. И жену колотить...

С зацепа снялись. Но крыло трала разодрали в клочья. «Зализывать раны» бесполезно. Надо заменить крыло. Это последнее событие сквозняком разнеслось по каютам и сдуло с лиц следы надежды, погасило шутки. Пароход словно онемел. Пришла буфетчица, приглашать на обед:

— Горчичка появилась, Алексей Иванович.

Тот отмахнулся:

— И без нее горько...

Наблюдения за работой трала, наконец, навели Стаканова на след. Он обследовал траловые доски и пришел к выводу: в них загвоздка.

Доски заменили.

Командование на промысловой площадке, как и на мостике к Курдюкову, теперь перешло к Стаханову. На себя уже никто из тральцов «Ключевского» не надеялся. Порядок в траловом хозяйстве «Ключевского» Стаканов наводил не торопясь и основательно. Он полностью перевооружил трал. А вот Курдюков вроде стал сдавать.

— Помогли, называется... Еще подумают, нарочно им трал располосовал. И на пароход свой стыдно будет возвращаться. Засмеют.

Пономарев на всякий случай пригрозил Курдюкову по эфиру:

— Не наладите работу — бот не подам. Вплавь добирайтесь! Пусть вас акулы пощекочут. Голубеньких тут навалом — кишат...

Ему шутка, а тут хоть ревмя реви.

— Га-а, — оборвал, как это часто с ним бывало, Курдюков невеселые мысли неожиданным коротким смешком. — Хотят нас на измор взять. Держат с куревом впроголодь. Наверное, чтобы злее были. Пора зарабатывать курево, как считаете? — по-мальчишески озорно подмигнул мне Коля.

С куревом мы влипли. Все трое. В горячке при отправке на «Ключевской» никто не подумал о запасе сигарет. Что было в карманах — быстро истощилось. А тут еще самонадеянность подвела.

— Без курева прибыли. Будем центнерами отрабатывать сигареты, — заикнулись на мостике при Шоколе.

— Идет, — принял шутку Алексей Иванович. — Предлагайте любые условия.

Так и заключили соглашение, которое оказалось для нас кабальным, — пачку сигарет за пять тонн рыбы. С тоннами не получалось. И вот теперь мы «стреляли» курево.

Алексей Иванович готов был в любую минуту расторгнуть унижительный для него договор. Негостеприимно как-то... Но что это означало для Курдюкова, Стаканова! Сдаться? Ни за что!

Оставалась последняя надежда на реконструкцию тралового хозяйства. Рассчитывал на это и Курдюков. Но... перелом так и не наступил.

Сначала вытаскивали по полторы-две тонны. И «зацепов» не избежали, хотя снимались с них без особого ущерба. Закатилось солнце, и совсем пошли хватать «пустыри». На переговоры с городом Шокола шел с обычным стоном: «Ну какое искать оправдание?!»

...Вечером в его каюте собрались первый помощник капитана Мараховец, штурманы, старший трал-мастер и мы, гости.

— Что будем делать дальше? — в лоб поставил вопрос капитан. Все молчали. И Алексей Иванович сам ответил на него: — Мои соображения таковы. На мостике все резервы исчерпаны. Значит, все дело в трале.

— Не согласен! — отрубил Стаканов. — С тралом все сейчас в порядке. Доски заменены, загрузка трала нормальная. Ваера и кабельное хозяйство мною промеряны.

— Может, с игеком попробовать тральнуть? — предложил помполит. — Вдруг трал не раскрывается, как надо?

Капитан поморщился:

— Еще оставим его на дне. Шуму потом не оберешься.

И все-таки решили рискнуть. Но предварительно справились по телефону у вахтенного, что берет «Сероглазка». К вечеру она работала в своем обычном режиме, а за последнее траление подняла лишь тонны четыре. И это сообщение все решило.

— Отставить игек. Бесполезно, — поставил точку капитан под этим разговором. — Побежим на свою прежнюю банку, Там вроде освоились. Может, хоть немного за ночь возьмем.

В дверь постучали. Вошел вахтенный штурман,

— Анатолий Андреевич просит, чтобы возвращали товарищей на судно, — доложил он. — Ждет на связи.

И Шокола сразу сник. Правда, нам было известно, на «Сероглазке» чуть не весь день пробыла делегация с сахалинского БМРТ «Иван Чернопятко». Капитан этого судна честно сознался, что работать на таких банках ему не приходилось, и попросил помощи. И Пономарев направил на сахалинца шефа — второго штурмана Жоржа Ткачева. Теперь сам он делит вахты с Чекутовым. Редкий случай в практике. Судно почти без штурманов! Достается же им, подумалось. Но как уходить нам сейчас? Когда столько пережито.

Вернулся Шокола. Сияющий. Трет ладони.

— Все в порядке! Ложная тревога. Анатолий Андреевич сказал, пусть будут сколько угодно, — кивнул на нас. — Его просто разозлило, мол, моя надежда, третий штурман, и так подводит.

Курдюков при этих словах стыдливо опустил голову.

— Если он вас устраивает, — уточнил мысль Пономарева Шокола, — можете держать. Но до утра. А утром не получится у Курдюкова, направляйте его на «Сероглазку». Сам, сказал, к вам пересяду. И трал пообещал дать. Берите, говорит, что хотите, лишь бы рыбу ловили.

На этом мы и разошлись.

Первое утреннее траление внесло нервозность. Доски все время стучали слабо. «Может, заворот? — дергался Шокола. — Или обороты надо прибавить?» Курдюков успокоил капитана:

— Так и должно быть сейчас. — И в подтверждение его слов... с кормы передали: «Пошли доски нормально».

Проход одолели без зацепа. Благополучно начали подъем трала. Кучей повалили на кормовой мостик. Лебедка ревела с надрывом.

— Видно, рыбы много, — заключил помполит. Он сказал это тихо, но всеми было услышано, и на него скопились неодобрительно: нашел, мол, время шутить.

Вышли доски. Вот-вот должен всплыть куток... если он с рыбой. Буравили взглядом безразличные к нам волны: пора бы...

Великий океан! Сколько в тебе таится красок! Неужто не можешь расщедриться на одну-единственную — подголубленное пятнышко?

Равнодушный скряга! Не светлеет вода в том месте, где должен всплыть куток. Вот уже и бобинцы вынырнули, потянулись ожерельем к слипу, а куток так и не разорвал толщу воды, не выголубил ее. Что же могло произойти?

И вдруг все вздрогнули от крика.

— Е-е-есть! Под жв-а-ак! — во всю глотку заорал старпом. И тут же стал подпрыгивать на месте, по-ребячьи прихлопывать ладонями.

Куток всплыл перед самым слипом. Туго набитый рыбой, он неуклюже переваливался на волнах. Бежали к корме толпы ребят. Преображались их лица. К людям возвращалась надежда...

— Ну, Алексей Иванович, пора и рассчитывать? — напомнил я капитану с дрожью в голосе. Это тоже от избытка чувств.

— Потерпи, еще может оборваться, — отмахнулся он. — Надо еще поднять такую колбаску. Это ж сразу суточная норма заморозки! — Никак он не мог поверить в происходящее.

— А теперь, Алексей Иванович? — пытался вернуть его к действительности, когда уже куток улегся на промысловой площадке.

— И еще чуть подожди...

Он порывисто шагнул к Курдюкову, облапил этого щупленького парнишку с сияющими от радости глазами и, опьяненный удачей, стал тискать его в объятиях. Молча, без слов.

И только после этого зашел в рубку.

— Завпроду срочно на кормовой мостик! Захвати блок сигарет.

— Зачем же так, Алексей Иванович! Тридцать тонн — это всего лишь шесть пачек.

— А мы вам авансируем, — подмигнул он.

Еще одно траление — и опять такой же куток. Но ликовать на корме вместе со всеми нам уже не довелось. Под бортом «Ключевского» находился бот с «Сероглазки».

Только отошли от судна, раздались прощальные гудки. Они долго выстилались над океаном и постепенно угасали в волнах.

К полудню с борта уже своего судна заметили — «Ключевской» лег в дрейф. Что еще такое? Запросили.

— А что нам остается делать, — ответили с «Ключевского». — «Карманы» забиты рыбой, больше брать некуда. Морозим на полный ход.

Многие сутки бежал и бежал нам навстречу Великий океан. То взъяренный до пены на гребнях волн, то уступчиво-смиранный. Бежал без передыха, днем и ночью, в любое время суток, когда ни взгляни в иллюминатор. И вдруг остановился. Как-то совсем неожиданно. Распластался устало во всю свою неоглядную ширь и неровно завздыхал под бортами. Это наш траулер после бесконечных переходов с банки на банку, лихорадочных заходов на траления улегся, наконец, в ночной дрейф.

Человека оглушают, выводят из привычного состояния неожиданные резкие звуки. Нас же оглушила тишина, вышибла из отстоявшегося ритма. С первыми минутами дрейфа что-то ворвалось незнакомое в жизнь каждого, чего-то вдруг стало не хватать. Ищешь это «что-то» нутром, ловишь напряженным слухом и не сразу схватываешь. К сердцу прислушиваешься, вроде все так же ровно стучит. И немножко не так. Разъемно с чем-то, в одиночку стучит...

Из всех закоулков судна доносятся непривычные звуки, которые ранее вытеснялись иными, поглощавшими все остальные. Из приоткрытых дверей завода отчетливее доносится звяканье о металл транспортера противней с замороженными брикетами рыбы. В коридоре главной палубы, по правому борту, властвует убаюкивающее погрюкивание коробов с готовой продукцией. Катятся они неторопливо по роликам транспортерной ленты, и кажется, будто горная речушка камешками поигрывает. Здоровый храп намаявшихся за трудную вахту парней пробуждает мысли о чем-то земном: чудится, будто не на судне находишься, а бродишь по сладко спящему вагону пассажирского поезда во время затянувшейся ночной стоянки на какой-то большой станции.

Все не так, все по-другому в дрейфе. Непривычно. Ненормально! Доискиваешься до первопричин, чего тебе вдруг стало не хватать? Ага. Движения! Вибрации под ногами!

Только сейчас начинаешь понимать, что такое для судна главный двигатель. Сейчас он отдыхает. И, еще не успев остыть от многосуточной работы, отдает последнее тепло. Молчит трудяга-двигатель, в полудреме покачивается траулер, навевая на каждого благостное состояние, какую-то душевную и физическую расслабленность.

«Сероглазка» легла в дрейф от пресыщения. Рыбы в «карманах» столько — до утра с лихвой хватит. Такое редко бывает в этом отощавшем за последние годы районе промысла. С надежным запасом можно себе позволить роскошь и передремать в дрейфе. Отсюда и приятная расслабленность людей.

Упасть бы закончившим вахту в постель, забыться, ни о чем не тревожась. Не нужно сквозь дрему прислушиваться, как двигатель молотит: с тралом судно идет или началась выборка? Не надо вслушиваться в разноголосицу работающей лебедки, вскакивать и бежать на кормовую палубу: «Что там подняли?»

Так нет же, не спится. Бродят, как неприкаянные. Ищут, чем бы заполнить обрушившуюся на них пустоту. И я брожу...

В закутке судового коридора — курилке, обычно самом людном месте, одинокая фигура. В картинной позе дремлет на скамейке матрос из траловой вахты. Голова свисла на грудь, вытянутые ноги уперлись в переборку. Зажатая пальцами «беломорина» дотлела до мундштука и погасла. Видно, только что.

Прикашлянул. Думал, вздрогнет матрос. Нет, и не шевельнулся. Жалко, не дотянул до каюты, так в просоленной робе и застыл в этой усталой позе. Хотел разбудить и передумал! «Что он видит сейчас во сне? Вдруг вспугну?»

Полумрак на мостике. Ни штурмана, ни рулевого. Молчит, не отзывается знакомым приглушенным пощелкиванием эхолот — он тоже отдыхает. В штурманской тихо

шепчет гитара. Это вахтенный в ползвук наигрывает. Только для себя, ну и, может, для рулевого:

Побудь недотрогой,
Всего лишь два года.
Всего лишь два года
Меня подожди.
А если не сможешь
Побывать недотрогой,
А если не сможешь,
Тогда не пиши...

И тут чего-то недостает. А, понятно, — эфир молчит, угомонились суда. Видать, тоже удачно заловились.

Из матросской столовой слышен приглушенный стрекот киноустановки. И голоса. Стой, это же не настоящие, а экранные! В полумраке — силуэты парней. Всмотриваюсь — в основном тральцы. Дрейфы от пресыщения — их праздник. «Мы вам подвалили работки, вкалывайте, обработчики, на здоровье», — читаешь в такие часы на лицах тральцов.

В позах зрителей — отдохновение от труда и забот. Обнаженные, кто в шортах, кто в плавках, смотрят фильм полулежа, вытянув ноги на соседние кресла-вертушки. Крутили, который раз, «Печки-лавочки» Шукшина.

Плавая на разных судах, заметил — у каждого экипажа непременно есть одна-две ленты, обычно комедийные, которые прокручиваются «от» и «до», от начала рейса до конца его. Ежедневно. По нескольку раз в сутки. Они становятся неотделимой частицей судовой жизни, судового распорядка: как завтраки, обеды, смены вахт. Каждый кадр этих лент все знают назубок.

Уже где-то в середине рейса половина команды начинает говорить языком героев полюбившихся фильмов. На вооружение берутся их жесты. Подходит время обмена лентами с каким-нибудь судном, и поступают по принципу — все отдам, гармонь оставляю. И оставляют заученные наизусть ленты, с которыми, как им кажется, может уйти на другое судно что-то невозполнимое.

На «Сероглазке» в двух рейсах подряд не вычеркивают из «судовой роли» фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Печки-лавочки».

Когда я заглянул в столовую, последняя лента шла на убыль. Решил дождаться.

Фильм закончился. Но, вопреки обыкновению, никто не спешил подниматься. Может, неохота было расставаться с так удобно выбранной позой, а возможно...

Громче в тишине грохотала на холостом ходу киноустановка, потрескивал белый квадрат полотнища. Обычно в такие минуты начинался базар. Одни орал: «Заряди там что-нибудь еще!», «Потрави про шпионов!» Другие настаивали: «Кончайте, дайте хоть козла забить!» Конфликт разрешался просто: верх брало большее количество глоток, А тут все молчали. И лишь после того, как кто-то все же решился остановить громящую вхолостую киноустановку и включить свет, со вздохом вырвалось:

— Хороший был мужик...

Это — о Шукшине...

На верхнем мостике не угомонятся «дачники» — в основном старожилы «Сероглазки», уже побывавшие в этом районе и знающие, чем пахнет здесь летом. Днем жарко, ночью — духота. Застойно стоит она в каютах, изнурительная, влажная, как в парилке, духота. На открытой палубе — тоже не легче: через два-три часа постель становится волглой, хоть выжимай.

Спасение в продуваемых палатках — шалашах. Их-то и начали сооружать еще на переходе. Предусмотрительные с берега запаслись всеми необходимыми материалами. Каждый сам себе архитектор. Раздел верхней палубы между «дачниками» велся по справедливости: у кого участок работы погорячей и поглубже в недрах судна, тот

отхватывал себе лучшее место наверху. И, конечно, туковары вне конкурса. По праву работников горячего цеха прочно обосновались на воздухе и кандеи. На этой своеобразной иерархической лестнице у старожилов свои привилегии. Они пользуются ими сполна, урывая места под дачной крышей.

К какому брезентовому шалашу ни подойди — за зыбкой, обвеваемой теплым ветерком стенкой идет травля. Или гоняют пластинки. Но тихо. Чтобы не мешать другим. Это на ходу да в непогоду молено на полную громкость — вроде наперекор ревущей стихии.

Как-то во время шторма поднялся ночью на верхнюю палубу. Океан гудел, на все лады распевал ветер, играл вантами, И в эту суровую симфонию, в паузах меж громовыми раскатами волн, таранящих борт траулера, врывалась залихватская «Тройка мчится, тройка скачет...». Это производило потрясающее впечатление. Состязались такие таланты! Кто кого! Кто заглушит, возьмет верх, станет властвовать безраздельно...

До сих пор жалею, что не заглянул в шалаш, не всмотрелся в его обитателей. Что думали они, что чувствовали? Дьявол его знает, а может, всего-навсего «пульку» расписывали? Но тогда бы пришлось подивиться еще одному редчайшему свойству человека, — его адаптации.

Задержался у одной палатки. О чем, интересно, треп?

— Познакомился я с ней, можно сказать, на почве наших рыбацких обстоятельств...

«Понятно. Опять о женщинах. Главная тема в рейсах».

— В порт только пришли, — продолжал тот же голос. — Я моложе, ну мне и выпала доля «сделать ноги» в гастроном. Забункеровался в магазине, как положено в таких случаях, да в последнюю минуту к рыбному отделу потянуло. Дай, думаю, взгляну, как наш товар на витрине смотрится.

Подхожу — у отдела ни души. Продавщица спиной ко мне. Вижу, в зеркальце заглядывает, прихорашивается. Пока, значит, покупателей нет. Подоткнула светлые локоны под колпак, изящным таким движением поправила его на голове, повернулась. «Что вам?» — спрашивает. Как глянул ей в лицо — столбняк меня прошиб. Такое спелое яблочко! Она сначала не поняла, подумала, за ее головой в товар всматриваюсь. Оглянулась на всякий случай — куда это я безотрывно уставился? Догадалась, на нее смотрю. Бровью сердито повела.

— Вам чего? — строго переспрашивает.

По правде, я ничего не собирался покупать. Так рыбным духом на укладке пропитался, алкашу рядом со мной и закусывать не надо. Потянул носом рыбий запах, и порядок — вытирай губы.

Словом, выбрался я из пришибленного состояния и буркнул:

— Анюту мне, пожалуйста. Только одну. — А голос какой-то осевший, просительный.

Она вроде замешкалась, смотрит на меня испытующе. И, вижу, на что-то решиться не может. Потом встряхнула кокетливо головой, догадливо улыбнулась.

— Вам, — говорит, — какую? У нас их две.

— Ну, какая покрупнее, понятно. И копчененькую, она аппетитнее, — уточняю.

Как вспыхнет сразу. Улыбка в ежика колючего свернулась. Нижняя пухленькая губа, вижу, подрагивает.

— Вам что, делать нечего? — в голосе обида. Нашел, мол, время и место дурачиться. Потом поутихла. — Если всерьез, зачем она вам? — мечет искорки из-под крашенных ресниц.

— Кто она? — не понимаю я.

— Ну, кого спрашивали, Анюта...

— Понятное дело, для закуси, зачем же еще больше? — едва сдержался, чтобы не вспылить.

— Вы, оказывается, циник. И нахал, — гневно бросила она мне. — По вырезвителю, видно, заскучали. Отойдите, пока не позвонила...

Смотрю, уже сзади меня вытянулся хвостик, очередные нетерпеливо чеки в пальцах теребят, недовольно косятся. А одна тетушка, толстушка такая, не удержалась: «Молодой человек, не отвлекайте продавца. Объяснитесь потом».

И тут только в моей башке все высветилось.

— Девушка, милая, извини! Недоразумение вышло. Мне в самом деле обыкновенную селедку. Одну... копченую и покрупнее.

Наверное, я говорил искренне, горячо, да еще торопился. Недоверчиво стрельнула она в меня, а потом все же поверила. Стала выбирать селедку.

— Сразу надо было так и говорить, — упрекнула, — а то морочит голову... Анюту ему...

— Так это и есть Анюта, — говорю. — Кодовое название такое. Для эфира. Минтай — Костя, селедка — Анна, и так все рыбы со своими названиями. Не верите, у любого рыбака спросите. Или в радиоцентр позвоните...

Это уж я для полного убеждения.

— В экспедиции привыкли так называть, ну и прилипло...

Гляжу, обмякло ее лицо совсем, и смешинки в глазах.

— Любопытно, — говорит, — торгую сколько, а не знала. Для чего так закодировали? Я повел плечами:

— Для удобства, наверное, — кинул первое, что пришло в голову. — По рации передали: на борту полсотни тонн Анны, и все понятно, что ловим...

Очередь, что стояла за мной, отходчиво хмыкнула. Только та самая толстушка тетушка недоверчиво покосилась: придумают же такое...

— Ну, и что дальше? — уловил я голос судового повара, новичка на «Сероглазке».

— А что может быть дальше? Видел, при отходе прощалась со мной. Красивая такая. Вот это она и есть.

Скрипнул деревянный лежак за брезентовой стенкой.

Кто-то третий полусонно пробубнил:

— Кончай трепаться. На вахту скоро, дай хоть чуть ухо придавить.

Приумолк и эдак с ехидцей добавил:

— А ты, салага, лопухи расставил и все за чистую монету принимаешь... Эту байку я уже в десятый раз слышу.

— Тебе, женатик, неинтересно, ну и сверни свои лопухи в трубочку, — незлобиво огрызнулся рассказчик.

Неслышно отхожу от палатки и покидаю палубу верхнего мостика. Куда себя деть? Где упрятаться от умиротворяющей тишины дрейфа? Может, разбавить время умными разговорами за кофейком в штурманской? Там всегда в ночные вахты парни балуются растворимым, разгоняют сонливость.

У распахнутой двери ходового мостика, по левому борту, столкнулся с Колей Курдюковым. Южное ночное небо, видно, не отозвалось в нем ни одной лирической стрункой. Курдюков подошел к борту. Скрестив руки на поручне и удобно устроив на них голову, словно намеревался под убаюкивающий шорох волн об обшивку судна надолго предаться философским раздумьям о тайнах самого загадочного из мирозданий — океана, мертво уставился в шевелящуюся темноту. То ли мое молчаливое соседство не давало сосредоточиться, то ли все та же непривычная аритмия судовой жизни в дрейфе мешала найти себе хоть какое-то занятие, но пребывал штурман в такой позе лишь какую-то минуту. Оттолкнулся от поручня, затажно зевнул.

— «Хыщницами» позабавиться, что ли? — сказал, обрывая зевоту. — Может, ночь скорее поскачет...

— За все время ни одной не пришлось видеть, — догадавшись, что имел в виду Курдюков, заметил я.

— Когда судно на ходу, и не увидишь. Шум отпугивает. А так эта тварь общительная. Сейчас покличем, и столько голубеньких набежит. Снасть бы только найти.

Мое представление об акулах, которых приходилось видеть только в фильмах, никак не вязалось с курдюковским определением «общительные». Недоверчивость вызвало и вот это его уверенное: «Сейчас покличем». Любопытно, как это он может покликать?

— Снасть у меня есть, — отозвался в рубке рулевой Гриша Топейцын. — Неважнецкий крючок, но попробовать можно.

— Что ж ты молчал? Давай волоки его сюда!

Крючок у Гриши в самом деле оказался не ахти какой. Я видел, как хвастался среди парней, показывая свою работу, туковар Коля Максимов. Он выточил крючок на токарном станке из клапана двигателя. Игрушка, а не крючок!

— Такой и тунцу не разогнуть, не поломать, — горделиво подчеркивал Максимов.

Гриша же приспособил под крючок самый обыкновенный толстый гвоздь. Зато оснастка была полной: от ушка тянулся надежный тросик, а дальше, в полуметре, куда зубастой акуле уже не достать, — обычный прочный конец. И даже небольшая дощечка вместо поплавка была предусмотрительно привязана.

— Для них и такая снасть годится, — оценивающе рассматривая загнутый крючком гвоздь, одобрил Курдюков. — Тащи теперь насадку! — попросил Гришу.

— Разборчивые. — Это уже Курдюков мне. — Или потому что берикс рыба кровянисто-красная, — хватает его акула. А пристипомой почему-то брезгует.

Коля врубил свет, нацелил луч вниз, за борт, и, вращая бортовым фонарем, как локатором, начал высвечивать круги на воде.

— Пусть пока сбегаются...

И точно, как по щучьему велению, стали сбегаться. Какое же это впечатляющее зрелище! Из темноты вырывается светлый силуэт и стремительно несется в освещенную лучами зону, прямо к самому борту. Описывает круги. Движения неописуемо изящны. Герман Мелвилл писал: «Кит, вне всякого сомнения, есть величайшая из всех тварей божьих». А акула? Она, пожалуй, совершеннейшая тварь, сотворить которую не по уму было даже самому богу. Тот же Мелвилл нашел для нее, по-моему, точнейшее определение, назвав ее блистательно красивой.

— Ну, Гриша, — с придыханием выдавливает из себя и неторопливо топает ногой Курдюков: тот разрезал берикс на куски для насадки.

И как акулы на свет, так и к нам из разных закоулков палубы неслышно скользили тени. Подходили, свешивались через леера за борт, полупшепотом выражая свои эмоции:

— А вон, смотри, еще одна! Ух, какая огромная!

Со свистом раскручивается конец и летит за борт. Громко шлепается на воде насаженный на крючок кусок берикса и медленно тонет. Как раз в самом центре высвеченного лучом круга. Заплясала на легкой волне дощечка-поплавков. В отличие от многих рыб, которых доводилось ловить, акулы начисто лишены осторожности. Они откровенны в своих хищных намерениях. Вот одна из них делает боевой разворот и торпедой несется к колеблющейся в толще воды насадке. Переворачивается на спину. Мы все замираем.

— Коля! Руки, руки смотри! Рванет, кожа слетит с ладоней, Замотай конец за леер, — советует кто-то из болельщиков. Всеми начинает овладевать азарт.

Сильный рывок — и дощечка нырнула в толщу воды.

Курдюков нервно натягивал на руки кем-то подсунутые перчатки.

— Не спеши тянуть. Пусть заглотит крючок поглубже, — настаивают консультанты.

Какое уж тут благоразумное «не спеши». Коля впивается руками в выпрямившийся в струну конец. Одной ногой упирается в леер, другой — в палубу, для устойчивости, с натугой пробует вырвать хищницу из воды. Конец поддается. Вспенивается бурун, и тут же белое кружево вспарывает острие косы — спинного плавника. Еще мгновение, и обнажается гибкая спина хищницы. Мощный шлепок хвостового плавника высекает фонтан брызг. Предупреждающий и грозный. И тут же из воды показалась голова акулы. Отбеленная снизу, с широким разрезом пасти, она уж больно напоминала капюшон куклуксклановца.

— Не спеши тянуть. Пусть глотнет воздуха. Подержи и отпусти, — наставлял Курдюкова приманенный на палубу непонятным для этого времени шумом «дед» — стармех Михайло Бурьян. Причем наставлял таким тоном, будто он всю жизнь тем и занимался, что ловил акул.

Совет его оказался кстати. Хищница в этот момент так рванула, что Коля, не успевший ослабить конец, резко подался вперед и прилип грудью к верхнему лееру.

— Говорил же тебе, понемногу отпусти, — все так же наставительно проворчал «дед».

Почувствовав глубину, акула рванулась в темноту океана.

— Куда-а, милая! — теперь уже в полный голос опьяненно орет Курдюков. Откинувшись всем корпусом назад, словно сдерживал разгоряченных бегом лошадей, он изо всех сил вцепился в конец.

— Ну, давай, по-о-неслась, зубастенькая! — охваченный азартом наездника, орал Курдюков. А мы, замерев, наблюдали, как остервенело металась в воде акула, не уступая Курдюкову ни сантиметра. Пришлось ему помогать. Теперь уже несколько пар рук взялось за упругий конец. И он стал поддаваться. Выбранную слабинку тут же наматывали для надежности на леер. Бурун клокотал уже под самым бортом.

— Ну что, будем брать? — нерешительно оглядывается Курдюков. — Или дать ей порезвиться?

Пора! По команде: «раз-два, взя-а-ли!» — рывком выдергиваем добычу из воды. Выгибаясь в кольца и пружинисто распрямляясь, акула замолотила мощным хвостовым плавником по обшивке. Хлопки такие резкие, с потягом, думаешь: окажись обшивка потоньше — не выдержала бы. Или остались бы вмятины. Из иллюминаторов матросских кают повысовывались головы: что там за молотья среди ночи?

Сопrotивление акулы было настолько неиссякаемо-яростным, что мы заколебались: а удастся ли вытащить? И всего-то, может, полтора метровка, а может, и того меньше, но сколько в ней силы! Может сорваться: не сейчас, так у самых лееров. А жалко упустить.

На «Сероглазке» от старожиллов судна мне пришлось наслышаться об охоте на тунцов. Счастливчикам иногда удавалось вот так же оторвать от воды трехпудового мальчика, а большие — и говорить нечего — уходили запросто. От воды отрывали, а поднять на палубу редко кому удавалось. Срывались.

Даже конкурс заманчивый не помог. На мачте подвесили приз — бутылку водки. В рейсе и про запах ее успели забыть. А тут висит у всех на виду и дразнит. Выходят парни на палубу, становятся с подветренной стороны, задирают головы, и ноздри, словно мехи, от натуги шевелятся. Ан нет, треклятая, хоть бы чуть пощекотала. Это в деревне на расстоянии можно учуять, в каком дворе самогонку гонят. А тут — глухо. Только через тунца к ней доступ. Как в известной сказке: сначала надо подстрелить утку, из нее выпадет яйцо, а в яйце игла... и так далее.

И все равно охотников нашлось много. Вахту свою отстоят, за снасти — и на другую вахту. По тройкам разбились — одному все равно не совладать с тунцом.

Неделю, днем и ночью, маячили у борта охочие заполучить заманчивый приз. Скандал разразился, когда его сняли. В бутылке оказалась самая обыкновенная вода. «Это же надувательство, — шумели тунцеловы. — За такие штучки...» Словом, несладко бы пришлось шутнику, автору этого конкурса, узнай парни, кто он, да еще если бы кому удалось вытащить тунца... А так лишь языки почесали...

Эта история всплыла в памяти почему-то в ту минуту, когда акула, уже выхваченная из воды, извивалась у борта. И хоть никакой приз не подогревал нас, обидно было бы упустить голубенькую.

— Надо голову ей сначала заарканить, потом уж тянуть, — благоразумно советует «дед» Михаиле.

С первой же попытки петля набрасывается точно. Рывок — и она впивается намертво.

— Прячьте головы, если они у вас нелишние. Будем тащить! — предупреждает Курдюков тех, что внизу торчат из иллюминаторов.

И снова дружное «раз-два, взя-али!» Рывками пошла хищница вверх, будоража тишину резкими выстрелами плавников об обшивку. Заминка вышла у самых лееров. Уже вроде и голова застучала о верхний леер, а перевалить тушу не можем. Изгибаясь, путается, застревает акула в проемах леерных ограждений, никак не осилим.

— А ну-ка, дайте я с ней покалякаю, с несговорчивой.

До этого «светило», Виктор Фомичев, кажется, безучастно относился к нашему занятию. Он стоял в стороне, в нескольких шагах от нас. Склонившись за борт, сосредоточенно всматривался в толщу воды. Виктор себе выбрал дело по своей натуре — спокойное, не суетливое — охотился за кальмарами.

Фомичев — выделяется на судне своими особыми приметам, скажем, внешними. Широкое, типичное бурятское лицо. От него постоянно веет добротой, покладистостью. Никакие обстоятельства не влияют на это постоянство. Разве только иногда чуть крутовато дернется в сторону большая, в пышных черных завитушках голова да живо метнутся зрачки в уголки придавленных массивным лбом узких глаз — вот и вся реакция. А само лицо остается таким же, источающим доброту.

Увидеть его вспылчивым, резким можно так же часто, как услышать грозу на Камчатке, а она, известно, бывает не каждый год. А голос... Не говорит, а словно доверительно на ухо нашептывает. Даже не верится, что из такой глыбы могут исходить вот эти размягченно-приглушенные звуки.

Фомичев же и впрямь выглядит глыбой. Роста невысокого, но зато весь как налитой. Покатые плечи так разнесло, что мне все время почему-то казалось, что в дверь каюты он входит бочком. Собирался специально проследить, да каждый раз забывал.

И опять любопытный контраст. Кажется, грузная должна быть походка у человека с такой комплекцией, а он ходит, что резиновым колесом катится. Вот и сейчас он неслышно подошел к нам. Раздвинул руками всех по сторонам.

— Отойдите подальше и не ослабляйте конец.

Виктор спокойно перегнулся через леера, широко расставил руки. До нас сразу не дошли намерения Фомичева. Поняли лишь в тот момент, когда он, изловчившись, одной рукой сдавил самую утонченную часть туловища у хвостового плавника и прижал ее к борту. Тут же второй рукой подхватил хищницу чуть ниже головы.

Мы хором заорали:

— Ты что, очумел? Отсечет же руку!

Виктор не отзывался. Видно было только, как напряглась, взбугрилась его короткая шея, эластиком вытянулась рубашка на мощных плечах. И еще услышали фомичевское, заговорщеское:

— Ну зачем так свирепо? Иди ко мне, голуба.

И тут же спина его начала разгибаться. На полусогнутых руках, так, чтобы хищница не касалась груди, он приподнял ее над леерами и, как штангист, выбросил извивающуюся добычу над головой.

— Разбегайся! — крикнул предупреждая и шмякнул опасную ношу о палубу. Мы брызгами разлетелись от заходившей в агонической пляске хищницы.

А Курдюков уже забрасывал снова крючок в высвеченный прожектором круг. И снова через несколько минут дружно орал: «Раз-два, взяли!» Потом начали забрасывать снасть по очереди. Только под утро отвели душу.

— Хватит, надо хоть немного перед вахтой вздремнуть, — сказал Курдюков. Стали разбредаться по каютам и все остальные акулоловы. Остались лишь мы с Фомичевым.

— Разве можно так безрассудно? — заметил я ему с трудно скрываемым восхищением.

— Да ну, ерунда какая! Зажал же я ее, — ответил он с фомичевским спокойствием. — Вот только по плечу наждаком слегка прошлась. Припекает маленько.

Сделал паузу.

— Но в воде я бы не хотел с ними встречаться. Брр-р! — Его могучие плечи вздрогнули. — В прошлом рейсе здесь же нашему мотористу довелось с ними слегка пообщаться.

— Каким образом?

— На винт трал намотали. Он и вызвался добровольцем высвободить винт. В респираторе под водой стал ножом дель разрезать. Спиной, — рассказывал нам потом, — почувствовал, вроде стоит кто-то сзади. Наверное, от потоков воды это ощущение шло. А бросить работу, оглянуться — оторопь берет. Так, пока не освободил винт от дели, и не решился оглянуться. Потом уж, когда всплывать стал, увидел — кругами вокруг ходят. На борт подняли, тогда лишь дрожь запоздало проняла. Зубы защелкали. Не от воды, конечно. Вода парная была.

Не знаю, для чего рассказывал мне Фомичев об этом случае. Наверное, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в его, Виктора, действиях ничего нет особого. Или еще для чего-то?

Мы разошлись. Занималось утро. Я направился на мостик. Там уже вприпрыжку носился Чекутов. Он таким манером взбудораживал себя, настраивал на другую азартную охоту.

Завибрировала под ногами палуба. Траулер ожил. Проснулся эфир.

— «Сероглазка»! Когда начнете ловить? — спрашивали с «Ключевского».

— Всем доброе утро! Сейчас пойдем на заход, — ответил Чекутов. — Так что, кто нуждается в консультациях — прошу: мыслительные аппараты — на прием, языки соответственно — на передачу. И — поскакали, ребяташки, дальше. Вперед! Ближе к планам, ближе к женам. Планы ухнем — и подставляй губки.

Короткая передышка закончилась.

На вечернем капитанском часе Пономарева снова похвалили.

— За помощь другим судам большое тебе спасибо, Анатолий Андреевич! От всех капитанов и от меня лично, — сказал начальник объединенной экспедиции. И это было услышано на всех траулерах. Слабого на похвалу Пономарева, понятно, понесло.

— Еще вы не такое увидите. Вот обождите, — хвастливо, совсем по-детски заметил, когда мы вышли из радиорубки. По интонации, той решительности, с которой он направился на мостик, чувствовалось: свое обещание «еще и не такое увидите» капитан намерен привести в исполнение немедленно же, под неостывшее настроение.

На мостике, кроме вахтенного штурмана и рулевого, толклись еще Валера Стаканов и доктор Каптеров. Совсем кстати. Должна же быть какая-то публика?! Ну, и аплодисменты, если номер получится. И Анатолий Андреевич, потоптавшись у эхолота и «подоив» в задумчивости мочку уха, с задиристой игривостью спросил у тралмастера:

— Как думаешь, Валерий Николаевич, сколько рванем?

Валера уловил настроение капитана. На всякий случай продвинулся к эхолоту, прошелся равнодушным взглядом по записям. Зевнул для порядка, подчеркивая этим самым — никаких потрясений, ни мирового масштаба, ни тем более внутрисудового он, Валерий Стаканов, в ближайшее время не ожидает.

— Смотри что рвануть, — как можно безразличнее, выпячивая интонацией будничность происходящего разговора, ответил он.

— Трал или кусок скалы можно, а рыбы... Видно же по записи — скупое. Разве на жареху только...

Большого от Валеры в данную минуту и не требовалось — несложная роль им была выполнена блестяще.

— Будьте свидетелями! — торжественно обратился Пономарев ко всем нам. — Гарантирую, как минимум, сотню центнеров. А то и все сто пятьдесят поднимем за траление!

Пошли на заход. Тралением от начала до конца занялся Пономарев.

Наконец под одновременное: «Вон он!» — куток продавил неподатливую поверхность океана. Но раньше, на какое-то мгновение, а все равно раньше, чем он, всплыв, грузно закачался на волнах, чем раздались первые выкрики болельщиков, — в загнутых далеко вверх заусеницах пономаревских губ приметно обозначилась горделивость.

— Не скажу, сколько там точно, — кивнул он на покачивающуюся поодаль за кормой темную тушу, теперь уже замеченную буквально всеми, — но не меньше, чем я обещал.

Чувствовалось, Пономарев изо всех сил старается казаться человеком эмоционально сдержанным. Но клокотавшее в нем торжество, удовлетворенное самолюбие так и выпирали из него. Выпирало, рвалось наружу так же неудержимо, напористо, как напористо прорывается сквозь толщу воды трал, наполненный рыбой.

— А, что я говорил, а! — подмигивает мне повлажневшими глазами.

— Вы там поживее можете поворачиваться? — крикнул Пономарев на тральцов, не удержался. — Надо дотемна успеть еще схватить столько же.

Трал, продавливая своей тяжестью дорожку, весь окантованный пенным кружевом, споро приближался к корме. Болельщики наметанным глазом прикидывали: сколько в нем, громко выражали свою эрудицию на этот счет.

— Делёжек просматривается много. Вроде как по уши забит трал.

— Делёжки, пока они в воде, еще ни о чем не говорят, Может, рыба в них гуляет, как в садках. Вот когда собьется плотно...

— Все равно, как ни размазана она по кутку, а по всему видать — меньше пятнадцати тонн не будет.

И эти обычные в подобных случаях прикидки и гадания отзывались сейчас в избалованной удачами, самолюбивой натуре Пономарева аплодисментами. Ради них, сам того не сознавая до конца, он и затеял эту игру: посмотрите, мол, что может ваш капитан!

Будто собравшись с духом, лебедка взвизгнула и взяла самую высокую ноту. Напряглись, выструнились ваера, и под гулкий перестук кухтылей о палубу в слиповом проеме появился куток. Тяжело, настораживающе потрескивая капроном, кажется, вот сейчас р-раз! — и вдребезги, — взобрался он первыми делёжками на промысловую площадку. Передохнул малость. Еще один перехват, еще скрипучий вздох лебедки, и вся плотно начиненная рыбой часть трала распласталась вдоль палубы, поделив ее надвое.

Закатное солнце любопытствующе заглянуло сюда. Прощупывая прощальным лучом трал, заскользило от слипа, от последней делёжки к первой. Добежал пронырливый лучик до середины и — о, чудо! От него, как от спички, огненно

вспыхнули головные делёжки. Все замерли от изумления. Мне не приходилось видеть такого. Половина трала с рыбой, подсвеченная заходящим солнцем, отливала чистым серебром, а вторая половина — словно само солнце угодило в сети, запуталось в них. И никакого перехода от одного цвета к другому. Будто кто рассек куток пополам.

Даже тральцы — и те растерялись. Стоят и смотрят заворуженно на чудно раскрашенный трал, точно надувной продолговатый шар.

Из оцепенения вывел их оклик с мостика:

— Ну, чего уставились на него! Вирайте, вирайте!

В голосе Пономарева явственно проскальзывали раздражительные нотки. В затеянную им и так ладненько разыгранную, без единой накладки, показательную сценку удачной рыбалки примешалось что-то непредвиденное.

— Косячок берикса проглотил трал. Вместе с пристипомой. Совпало — пополам-напополам. Вот и все, — пробубнил Пономарев для тех, кто был рядом на мостике, стараясь оттенить каждым словом, интонацией заурядность события.

А лебедчики тем временем «ставили» куток на попу. Завис он над палубой, но никто по обыкновению не спешил освобождать его от улова. Стоят тральцы, переглядываются выжидающе. Вахтенный тралмастер Солганин, так тот совсем в вилку попал: и на своего старшего, Валерия Стаканова, с надеждой косится, и заранее стриженную под нулевку голову в плечи втягивает — ждет, что сверху, с мостика, Пономарев на него обрушит.

А тот молчит. Удивительно долго молчит. И все там, наверху, молчат. С опасным потреском покачивается над палубой грузный куток. Трепещется, рвется отчаянно из каждой ячеи все туже и туже стискиваемое солнце, тускнеют серебряные слитки в нижней половине кутка...

— Что, забыли, где гайтан находится? Или вышибло из памяти, как это делается? Ручками, Солганин, ручками куток расшворивают!

В голосе Пономарева теперь уже нескрываемая злая издевка. А все равно после затянувшейся паузы и она — разрядка.

— Сам знаю, что не ножками, — пружинисто вскидывает вверх голову Солганин, истомившийся в ожидании капитанских нападков. И его, молчуна, прорывает.

— Что и куда? — реагирует запальчиво и оскорбленно, тыча рукой в сторону кутка.

— В девках, что ли, до сих пор ходишь? Не знаешь — что и куда... Пристипому — туда! — стреляет Пономарев указательным пальцем в темное отверстие посередине промысловой палубы. — В бункер! Что не войдет — в карман. Теперь-то хоть ясно, Солганин?

И этим «теперь-то хоть ясно?» доканывает трал-мастера. Тот, обдав Пономарева взбешенным взглядом: «Да что я, совсем уж...» — тут же спохватывается: «А-а, все равно с ним бесполезно». Обиженно отворачивает голову. Лишь по набыченному выгибу крепкой, прихваченной первым южным загаром шеи, можно догадываться, какой монолог, поглощенный, как трясинной, терпеливой солганинской душой, навсегда останется тайной для человечества...

Дюжий парень из траловой вахты, испытывая на себе настороженные взгляды, нервозно смыкает гайтан. «Завязка» долго не поддается. И тогда он, упершись ногой в упругое тело кутка, отчаянно резко откидывается всем корпусом назад. И едва удерживается, чтобы не грохнуться со всего маху о палубу. Куток разрывается с глухим треском, и напористый серебристый поток шумно ухаёт в небольшой, но вечно ненасытный проем на промысловой площадке.

Вот уже одиночно и поэтому отчетливо гулко, точно падающие на землю перезрелые плоды, шлепнулись о палубу последние рыбины и парни из траловой вахты деревянными толкушами натренированно дослали их, словно шары в лузу, в люк, а на мостике и в кормовых очкурах никто и не думал расходиться. На кого ни глянь — на

лицах притаенный интерес. Такое иногда испытываешь, оказавшись невольным свидетелем неприличной уличной сценки. Один бы ни за что не остановился и не стал бы ротозейничать, опасаясь, как бы, упаси бог, тебя не обвинили в нездоровом любопытстве. А вот если в толпе — то ничего. В толпе можно. Затеряешься в ней и lupишь глаза. И хоть уши вянут и неловко на соседа взглянуть, а тем более на соседку, уходить не хочется.

И еще в таких случаях погано на душе становится от того, что не хватает в тебе решимости прервать это зрелище, недостойное людей. Кажется, если вмешаешься — вроде к чему-то грязному прикоснешься. И тут же оправдание готовенькое — почему это должен делать я? Вон же сколько толкается, lupит глаза... Так воровски и выглядываешь из-за кустов своей собственной совести, ждешь — чем все это кончится.

Нечто подобное испытывали и мы, оказавшись в роли свидетелей неприятной истории, происходящей сейчас на наших глазах.

Стоим и выжидаем — какая поступит команда насчет той, второй половины улова. И вообще, как это будет все выглядеть?

А чего гадать? Ясно каждому, куда загудит рыба. Будь это несколько лет назад, и в голову не пришло бы задуматься, окажись в подобной ситуации. Попалась в трал незапланированная порода рыбы, одна ей дорога — в прилов. А за прилов команде — копейки.

Да чего там говорить о прошлом. Здесь же, и в этом рейсе, в уловах то и дело попадались красавцы солнечники. Округлые, крупные — в обхват рук. Чешуя с медно-желтым переливом. И океанский карасик, признанный всеми рыбаками деликатес, редко какой трал обходит, и вот этот берикс. Только в общих уловах рыбины эти выглядели редкими блесками на непогожем ночном небе. Отсюда и никаких хлопот-забот, что делать с приловом: сколько нужно на команду для уха или жарехи — отбирается парнями, остальная рыба в заначку на черный день. Шторма их часто устраивают, такие дни.

Тут же возьми и совпади: половина наполовину подняли, как будто кто отмерил. Да еще толпа как-то по-особому была в этот момент настроена. Да еще океан был ласковый-преласковый в этот вечер. Да ещё солнце с таким намеком уходило за горизонт, будто напоминало: «Ну чего же вы, туда же ведь побреду. Может, передать что?» Да еще... вон он, покачивается над палубой куток. А в нем, в набежавшей закатной тени, берикс теперь уже гранатовыми зернами смотрится...

Кто его знает, может, при другой раскладке обстоятельств, душевного состояния и по-другому бы все было. А тут взяло вдруг и защемило у людей. Не то что жалко стало, на то она и рыба, чтобы ее ловить. Да уж как-то не так все это делается. Неужели нельзя поумнее? Была бы еще рыба так себе — ни минтай, ни хек с ним, а то ведь, берикс, берикс...

Вспомнилось, как вскоре после возвращения «Сероглазки» из предыдущего рейса я заглянул в каюту старпома Петра Носича, которому вскоре суждено было заменить Пономарева на капитанском мостике и на многие годы стать хозяином «парохода», где он прошел все ступени морской школы, от матроса до капитана-директора.

— Чем бы вас угостить, нашенским? — повел хозяин глазами по каюте. — Всякие ракушки-побрякушки и прочие кораллы уже экспропрированы. Ах, да... Вот такого вы наверняка не едали.

Носич извлек из холодильника вязку небольших вяленых рыбешек. Приподнял ее над головой так, чтобы солнечные лучи, проникающие через иллюминатор, падали на нее.

— Вон, видите, — кивнул подбородком на рыбину. — Спинка просвечивается. Это жир, а вкусня-ати-на, — зажмурил Носич глаза и замотал головой от удовольствия. — Сам бы ел, да друзей на берегу много.

— Новую продукцию в рейсе освоили?

— Какую там новую, — ответил с привздохом. — Для себя вялили. Берикс. Попробуйте!

Отведал. Батеньки, до чего знакомый вкус...

...Середина пятидесятых годов. Пестрый ростовский рынок. Рыбные ряды. На прилавках — голо. Зато в междурядьях — толпы. Толкутся не просто так, со смыслом...

В азовских плавнях гремят выстрелы наглеющих браконьеров. Жажда легкой наживы пьянит, будит в них зверя, и они не останавливаются ни перед чем — стреляют в упор в рыбинспекторов, если не удастся уйти. Катастрофически тают запасы самой богатой рыбной кладовой страны: ни один бассейн не давал в пересчете на квадратный километр водной площади столько рыбы, сколько Азовское море. И какой рыбы!

Но где она?

— Объеденье кото-о-васька, кошка-амурка-а. Последняя! Последняя! — тянет нараспев торговка, одиноко торчащая в дальнем конце ряда. Я никак на слух не уловлю названия рыб, выкрикиваемых ею. «Это что еще за диковины — «кото-васьки» и «кошка-мурки»? Заинтригованный, плетусь на голос торговки, еще издали пытаюсь рассмотреть, что же там лежит перед нею? Подхожу — и глазам не верю: три кучи скрюченных, успевших усохнуть на солнце рыбешек. Не длиннее мизинца каждая, — поди тут угадай, какого эти мальки рода-племени.

«Может, для отвода глаз? — думаю про себя. — А припрятаны эти самые загадочные «кошка-мурки»?»

Отрываю взгляд от мелюзги, испытующе смотрю на торговку. Она тоже, оказывается, изучала меня. И уже все поняла. Не ее покупатель. Сморщилась досадливо: «И чего зря лупишь глаза, проваливай». И тут же затянула:

— Кто забыл взять? Последняя! Самая последняя!

Я насторожился, вслушиваясь.

— Объедение кошкам муркам и котам васькам...

«Фу, чтоб тебя!» — не удержался, сплюнул. И тут же мне представился ее товар крупными рыбинами. Весь ряд, наверное, ломился бы от них. Сейчас же людей больше толчется, чем всей рыбы на прилавках. Нет-нет да и появляется кто-то со свежим судаком или сазаном. Набрасываются на него еще при входе на рынок и добычу, что называется, с руками рвут.

«И это в Ростове?» — думалось невесело. До войны, рассказывали мои родители, в этом рыбном городе было такого добра хоть пруд пруди. А потом и мне, тогда еще пацану, самому довелось убедиться в этом. Вскоре после освобождения Ростова от немцев я проезжал через него. Вдоль вагонов по перрону ходили торговки. И почти все выкрикивали: «Горячие рыбные котлеты!», «Кому бутерброды с рыбными котлетами?», «Рыбные бутерброды, кому рыбные бутерброды?».

В те голодные годы само слово «вкус» почти вышло из употребления. Главное было — набить брюхо. Дешевле рыбных котлет на перроне ничего не продавалось. Кусочек хлеба к котлете утраивал цену. И я ел и ел только котлеты. И только поэтому, наверное, не люблю их до сих пор...

«Куда ж это все подевалось?» — думал я, шатаюсь между рыбными пустыми рядами и сторожко вслушиваясь в недомолвки, которыми обменивались толкающиеся так же, как и я, и чего-то нетерпеливо ожидающие люди. Мне наказали, снабдив деньгами, мои друзья из шахтерского поселка в Донбассе, без рыба или синьги, на худой конец — тарани, домой не возвращаться.

И я жарился на солнцепеке, не решаясь уходить с пустыми руками. И если бы не было совсем рыбы, а то есть... Только как к ней подступиться? У других, заметил, это получалось. Смотришь, переглянутся мужики мельком и уже отходят в сторонку, исчезают куда-то с глаз. А через несколько минут один из них снова в толпе, изучающе шарит глазами по сторонам, отыскивая своего покупателя.

Такой товар, как рыбец и синьга, уже в то время были на рынке в запрете. Азовское море для рыбалки постепенно закрывалось. Колхозные бригады переводились на только что родившееся новое море — Цимлянское. Рыбы в нем кишмя кишело поначалу. Еще бы, столько оказалось в зоне затопления богатых рыбой речек, речушек, озер, музг. А какое кормовое раздолье — все пойменные места вдоль Дона под водой очутились.

Корреспондент «Комсомолки» Василий Песков, материалами которого уже в то время зачитывались, сообщал тогда в газете, какое благотворное воздействие оказало новое море на такую рыбу, как синьга. В Азовском море она была костлявой и тощей. В Цимлянском — словно переродилась, писал Песков. Сейчас она по вкусовым качествам не уступает знаменитому азовскому рыбцу.

Попав в разряд «знаменитых», теперь и синьга, как и рыбец, шла только из-под полы. Но меня почему-то туда, под полу, не пускали. Странно, чем я мог отпугивать от себя?

Наконец и мне надоело осторожничать, решил действовать наобум. Подошел к первому попавшемуся, уже немолодому мужчине. Поманил пальцем, шепнул на ухо: «Батя, нужна рыбка!» И этого оказалось достаточно. Бегло скользнув по мне взглядом, тот кивнул: «Айда!» Получилось все так неожиданно просто.

Зашли за пивной ларек, расположенный тут же, при входе на рынок. Мужик распахнул просторный пиджак, и я увидел за поясом у него густо натыканные, головками вверх, — как гранаты, — вяленые рыбины.

— Три червонца пара, — предупредил на всякий случай тоном, исключаящим всякую попытку торговаться. — Сколько берешь?

Я сказал.

— Завернуть есть во что?

У меня было во что.

— Годится! Давай, подставляй...

И тут я заколебался. Никогда в жизни рыбец ни покупать, ни есть не приходилось. Синьгу — тоже. Надует еще... И спросить нельзя. Тогда уж наверняка надует.

Наверное, моя растерянность слишком откровенно была выражена на лице.

— За кого ты меня принимаешь, чудик! — догадливо улыбнулся. — Вот же, смотри! — выхватил он из-за пояса одну рыбешку и поднес к моим глазам.

— Видишь, светится спинка? Только у рыбака и синьги так светится. Будет кто подсовывать под рыбака другую, похожую, рыбу, не увидишь этой полоски в спинке — с ходу по харе. Не обидится.

— А если ночью? — спросил у него.

— Что, ночью?

— Подсунут если ночью, тогда как?

— А-а... Тогда только на зуб. С другой не спутаешь...

...Сколько лет прошло, а время не убило вкусовое ощущение. И я рассказал Носичу, о чем мне напоминало его угощение — вяленая, невзрачная на вид рыбешка берикс.

— Надо же... — сказал он раздумчиво. — А у нас она пока за прилов идет. — Может, тоже когда-то, как за тем рыбаком, будем гоняться?

И вот они, тонны этой вкусной рыбешки мозолят глаза, держат всех на корме, на мостике: заставляют молча и стыдливо переглядываться. Мертво вцепился руками в поручни Пономарев. Тоже озирается по сторонам как-то затравленно. Он все еще надеется, вот возьмет сейчас кто-то и скажет: «А чего на нее любоваться, работа же стоит?» Нет, как сговорились. Следят за капитаном, за каждым его движением: давай, мол, команду, чего тянешь?

«Я безжалостен... Я — хищник... А они... Посмотрим, как деньги будете получать за рейс. Может, кто из вас возьмет и откажется? Хотел бы я такого увидеть», — распалает себя Пономарев. Срывается с места и нервно вымеряет расстояние от крыла кормового мостика до крыла.

Разрядку вносит Гена Черных.

— В Мурманске, слышал, уже давно притирают... за это дело... Одни отходы идут в туковарку.

— А планы как же? — роняет вполголоса рыбмастер Вацлав Петрусявичус. — Столько на рейс планируют муки, не то что отходами, рыбой не закроешь. Если только на полную матушку туковарку загружать, может, и получится.

— Значит, у нас еще не клюнуло в то место... Ключнет — быстро с планами переиграют. Это — не рыбу ловить. — Ворчит Черных, а сам одним глазом косится на капитана: слышит тот или нет.

«Вот тебе и Гена», — вспомнилось его задиристое признание насчет «тугриков».

Сказанное Чернымом вроде совсем безадресно, будто бы между прочим, явилось той самой каплей, которая переполнила чашу...

— Солганин! Проснешься ты, наконец?! — срывающимся голосом, словно его кровно обидели, закричал Пономарев. — Или опять себя потерял? В бункер, давай! В бункер! В бункер! Ясно тебе? Ясно? — сжимая одной рукой поручень, другой яростно рубил он воздух.

И даже после того, как квадратный зев на палубе проглотил и эту порцию рыбы, Пономарев не мог пригасить бушующие в нем чувства. Его же никто не трогал. Хоть бы огрызнулся кто, другое дело. Тут же сам себе перцем под хвост...

— Как на этого... смотрите, да? — кричит, ни к кому не обращаясь. — Это я-то истребитель, хищник, да? Ну и считайте так, считайте!

С кормового мостика Пономарев подался прямо к себе в каюту. На очередное траление он не вышел. И к нему никто не решался входить. Перед чаем я встретил в коридоре Долгалева.

— Неужели и в самом деле нельзя как-то иначе? — вырвалось у меня.

— Кто сказал «нельзя»? — ответил Саша так, будто для него на этот счет никогда и никаких сомнений не возникало. — Еще как можно. Надо шкерить. И берикс, и солнечник, и любую другую пищевую рыбу, какая в трал попадет, тоже шкерить. При таких отощавших запасах я бы и пристипому шкерил. Зачем в трюмах возить хвосты, головы, те же внутренности? Все равно их потом там, на берегу, выбросят. И опять же холод расходуется зря. Правда, общий вылов рыбы ужметя, меньше будет, зато все в дело пойдет. Тушка на еду, остальное на муку.

— Почему же не делаете так?

— А это уже не от нас зависит. — И Долгалева воткнул палец в потолок. — Там решают...

— И с бериксом... там? — уточнил я у него.

Озябшие губы Долгалева изобразили улыбку. Несколько загадочную. Он улыбался каким-то своим мыслям.

— Предложил я Анатолию Андреевичу одно дело. Может, и выйдет что.

Помолчал. Запрокинул голову на спину.

— Наверное, тоже его осуждали? — сказал, не глядя на меня. — Зря. Просто кому-то надо на себя брать грех. Он капитан, и только поэтому... взял. Кому же еще?

Поздним вечером я шел мимо капитанской каюты на мостик. Дверь приоткрылась, и в ней вырос Пономарев.

— Зайдите на минутку,—пригласил он. — Присядьте, и... вот, познакомьтесь, — подал он мне папку с подколотыми свежими радиограммами.

Прочел верхнюю, за подписью Пономарева. Адресовалась она главку. Копия — колхозу. Капитан просил разрешения на выработку из берикса потрошенной мороженой продукции.

— Ну и что? — оторвал я глаза от радиограммы.

Пономарев давно ждал этого вопроса. Он готовился к нему. Вместо ответа с нескрываемой обидой спросил:

— Неужели и вы посчитали, что мне все... до лампочки? — И отвернулся.

Он жил еще тем вечерним событием, о котором большинство его участников, возможно, уже забыли.

— А теперь посмотрите, что нам ответили. Пономарев взял у меня из рук папку. Нашел нужные радиограммы.

— Вот, читайте.

«В связи с отсутствием цен на потрошенный берикс, выработку продукции из него считаем невозможной», — прочел я ответ за подписью начальника планового отдела колхоза. Пономарев не спускал с меня глаз. И я чувствовал, как малейшее недоумение на моем лице вызывало в нем трудно скрываемое торжество. Так уж ему хотелось реабилитировать себя. Странно, за что?

— Ну-ка, вторую теперь смотрите...

Ответ из главка был помудрее, чем из колхоза. Чувствовалась школа. Смысл радиограммы сводился вот к чему. Можно, дескать, вырабатывать продукцию из берикса. Но при одном условии. Мороженный берикс следует доставлять на свои береговые рыбообрабатывающие предприятия для окончательной доработки.

— Это что, из южного района океана возить... на Камчатку? И потом... потом, берикс-то не основная добыча, чтобы из-за каких-то десятка, ну сотни тонн гнать судно... Или я неправильно понял?

— Нет, почему же. Так и нужно понимать. Хотя глупее этого ничего не придумаешь. Теперь-то вам хоть стало ясно? — ликующе смотрел он на меня.

— К сожалению, как раз сейчас-то я перестаю что-либо понимать...

— Что именно? — впился в меня Пономарев.

— Не понимаю, чему же тут радоваться? — кивнул на папку с радиограммами...

На следующее утро разговаривал на эту тему с Долгалевым.

— Обидно, что этот вариант со шкеркой не прошел, — как всегда, спокойноотреагировал он. — Ну ничего. Будем бомбить радиограммами, чтобы в наш район выделили маленькое рефрижераторное судно. Что, разве плохо было бы? Ходило бы это судно от траулера к траулеру и принимало бы берикс, солнечник, карасика. И промысловикам лишняя копейка бы набегала, и в магазинах вон какая экзотическая рыбка появилась бы... И вкусная, главное.

Долгалев, как мне показалось, с опаской озирнулся по сторонам. Склонился ко мне и сообщил полусшепотом:

— Думаете, куда пошел тот берикс? Ну, тот самый? — И сам же ответил. — Дал команду Андреевич пустить его на заморозку. И пусть, мол, лежит до лучших времен в трюме. Нет, так сами же его и слопаем, пока то да се.

— Странно... Почему же он мне об этом ничего не сказал?

— Не знаю, — передернул плечом Долгалев. — Может, специально? Чтобы вас посильнее задеть. Напишет, мол, и займутся этим серьезно.

Спустя несколько месяцев, уже в городе, взгляд приковали в витрине рыбного магазина горки какой-то новой породы рыбы: солнечник и берикс. Уж не та ли самая, подумалось. Пономаревская? Вряд ли... А все равно — здорово! Выходит, и тут нет проблемы?

О борт знакомо ухнуло. Хлестко, с потягом. Научился такие удары различать сквозь сон. И сквозь сон угадывать, что за ними последует. Интуитивно потянулся за

скомканным в ногах одеялом. Поздно... Волна расколосась о ребро полуоткрытого иллюминатора, и холодные потоки с напористым присвистом прошли каюту. Обожгли тело, достали до лица. Умыли, солью осели на губах. Ущипнули слизнувший их кончик языка.

Сон как рукой сняло.

Вслушался. «Сероглазка» бежала налегке. Значит, заходила на траление. «Кто же это, интересно, такой виражик заложил?» Глянул на часы: ясно — Чекутов! Его вахта. Предупредит иной раз днем по трансляции: «Осторожно. Иду на разворот!» И для остроты ощущения так завернет, аж дух захватывает.

После такой водной процедуры не то что спать, валяться в мокрой постели было неприятно. Да еще соль пощипывала тело... Встал и поплелся на мостик.

Продирал глаза ранний в этих широтах рассвет. Ознобно стряхивал он с себя набрякшие за ночь клочья тумана. Оседая, они цеплялись за любое препятствие на их пути. Висли на мачтах, липли к палубным надстройкам, к стеклам окон и иллюминаторов и истекали крупными слезами.

Вначале, пока утро не освободилось от тумана, басисто и часто перекликались между собой траулеры, напоминая об осторожности: я ту-у-ут, я ту-у-ут. А растопили первые солнечные лучи волглую пелену, оголился океан, и у штурманов спало напряжение. Заговорили и они. Повеселел эфир.

Спугнул веселость голос с «Чернопятко». Мрачный да еще приправленный нездоровой хрипкостью:

— Что взяли, «Сероглазка»?

— Да так, в основном всю свою. Вашу, меченую, не трогали, — отшутился Чекутов.
— А у вас как?

— С выловом, вашей заботой, нормально. Налаживается. А вот «крематорий» барахлит. Пару «киселей» выдали из отходов тукачи. Представляешь? — вздохнул эфир.

— Ой, — ужалению вскрикивает Чекутов. — Ну, кулинары! Да они что, совсем уж?!

— А вот так. Не прет мука, и все...

— Хоть бы на бражку можно было пускать. Такое сусло зря пропадает, — подавленно заметил Чекутов.

— В том-то и обида — никуда не приспособить. Что-то не усекли наши тукачи, когда у вас были.

Благоразумию командиров траулера «Чернопятко» многие позже завидовали. Они не стали испытывать судьбу. Пришли в район промысла и, не замочив трала, запросились в гости на «Сероглазку». Это когда мы на «Ключевском» находились.

Десант, рассказывали нам потом, высадился большой, представители всех служб: штурманы во главе с капитаном, тральцы, технолог и даже туковар. Ходили, смотрели, запоминали, записывали. Польщенный Пономарев раздобрился и еще Жоржа с ними отправил. С добычей, выходит, пошло у них дело, а вот до ума доводить улов...

Но что такое «делать кисели»? И я спустился в туковарное отделение. Мне повезло. Я застал на вахте Юру Махалина. Красивый, чертяка! Среднего роста, весь как на станке выточенный и наждачной бумагой, где надо, отшлифованный. И ко всему этому — черные в мелких завитушках волосы.

На «Сероглазке» вообще туковары на загляденье подобрались. Особенно прически у них привлекательные. Прямо как на фотографиях в салонах парикмахерских. В отличие от Махалина, у второго туковара Коли Максимова — волосы пшеничные. И в такие же мелкие колечки туго закрученные. Только копна еще пышнее и гуще.

На судне шутят: на рыбьем настое, мол, у туковаров шевелюра такая роскошная произрастает. А то что цвет разный, так это от вахт зависит, кто в какое время суток работает: кому ночью выпадает, а кому днем.

С первого же мгновения, как только оказываешься в преисподней траулера — в туковарке, осознаешь, почему ее называют самым вредным цехом. Рыбий запах здесь настолько гущенный, крепкий — в горле застревает пробкой. Помещение так плотненько начинено механизмами — глаза вразбег. В технике надо быть смекалистым, иначе и делать тут нечего.

Махалину, по всему чувствуется, нравится здесь работать. Смотришь на него и ловишь себя на мысли, что любишь его работой. Прессует брикеты, как блины печет. Один в один: запашистые, поблескивающие маслянисто. Так и хочется откусить, попробовать. Вспоминается не приглушенный десятилетиями, не убитый нынешним довольством вкус самого ходового продукта военных голодных лет и главного заменителя хлеба — жмыха.

— В рыбопромышленном техникуме учился, — не отрываясь от дела, говорит Махалин. — Хорошо шла учеба, а понимал, не по мне специальность технолога. Так и бросил. А здесь — в своей стихии. Железок много. Ковыряться в них люблю. В прошлом рейсе на одном тут траулере мука у туковаров не варилась. Меня на выручку послали. Так я почти двое суток не спал и не ел, доискивался, в чем причина. Меня даже водчонкой пытались из туковарки выманить хозяева судна. Пока не наладил дело, ни к чему не прикоснулся.

Тут и я вклинился в разговор с «киселями». Вроде бы между прочим.

— На «Чернопятко» тоже два сделали. Как же вы их учили?

— Свой ум в чужую голову не вставишь, — обидчиво, как упрек, воспринял мои слова Махалин. — И потом, чего стесняются? Нужно, так пусть присылают бот. Пойду и налажу.

И заговорила, заняла в нем мастеровая косточка.

— Нет, они там или совсем без масла в голове, или до фонаря им все, — сказал Махалин вконец расстроенный.

И еще мне показалось, будто он сам с собой разговаривал.

— Объяснили же им. Все по полочкам разложили. Придется у Анатолия Андреевича проситься к ним... Тут уж, знаете, профессиональное самолюбие задето. Это же надо — два «киселя» подряд?! Чокнуться можно!

Но пойти на «Чернопятко» Махалину так и не довелось. Оттуда обрадованно сообщили: пошла мучица, пошла-а!

Вторую неделю «Сероглазку» преследует «Мыс Егорова». Преследует неотвязно, настырно и загадочно-молчаливо. Словно влюбленный, терпеливо выжидающий благоприятного момента для объяснения. Ни разу я не слышал, чтобы с этого траулера спрашивали наших штурманов. Вначале думал: нет у них нужды спрашивать, сами хорошо ловят. Мимо ушей пропускал и доклады капитана этого траулера на капчасках. Споткнулся я на нем первый раз, просматривая показатели суточной добычи судов экспедиции. И глазам своим не поверил — этот траулер затерялся в самом конце длинного столбца названий судов. «Мыс Егорова» горел по всем статьям. Странно, чего же они молчат? Не взывают о помощи, не занимают очередь, как это делали и делают командиры других судов, навязываясь в гости на «Сероглазку»? Может, гордые? Своим умом решили постигнуть? — терялся в догадках.

Как в свое время «Ключевской», так теперь «Мыс Егорова» целиком завладел моими мыслями. На капитанских часах нетерпеливо ждал, что скажет капитан этого траулера. Я даже изучил его голос и ни с каким другим не путал. Впрочем, спутать его было трудно. Угадывалось в нем что-то от голоса Утесова. И уж совсем отчетливо выделялись характерные интонационные особенности, по которым в человеке сразу распознаешь одессита. Впрочем, Пономарев так и звал его — Одессит. Неужели только из-за этого выговора?

— И за это, и еще... кое за что. И потом, не я один так его зову, — уклончиво сказал Пономарев.

Держался капитан с «Мыса Егорова» на переговорах с достоинством. Не стонал и не ссылался ни на какие причины — излюбленный и выверенный практикой маневр многих руководителей. Докладывал, как проволоку рубил на равные части.

— Пока не пристрелялись. Частые зацепы. Чистим грунт. Вместо рыбы поднимаем камни.

Последнюю фразу насчет камней он произносил без обычного в таких случаях вздоха и на той же вроде тональности, что и остальные. Это если особенно не вслушиваться. А вслушиваешься, даже эфир не может скрыть надлома в голосе, окрашенного горькой иронией.

Порой мне казалось, что я даже вижу его усталые глаза, искривленный насильственной улыбкой рот.

Шли дни, а суть его докладов почти не менялась.

— Пять тралений, — приглушенно басил он. — Четыре зацепа. Рыбы — по нулям. Продолжаем чистить грунт от камней.

— Послушайте, «Мыс Егорова»! Вы в каком качестве работаете? — не выдержал на одном из капчасов начальник экспедиции. — Можно подумать, у вас там не рыболовный траулер, а земснаряд, — недовольно пробурчало в эфире.

Сравнение вызвало дружный гогот в нашей радиорубке. Улыбнулся и Пономарев. Но сдержанно и загадочно. Полузакрыв глаза и погрузился в свою тайну.

— Когда же все-таки не камни, а пристипому начнете ловить? — догадываясь, какую реакцию вызвала его реплика, продолжал тянуть жилы из капитана «Мыса Егорова» начальник экспедиции.

— Не порвем все тралы, не оставим на грунте все доски — будем ловить и рыбу. Должны ловить...

— Спасибо! Утешил! — оборвал язвительно. — Не получается, попроситесь на «Сероглазку». Корма в корму же ходит. Присмотритесь, как они работают. Посоветуйтесь... пока не порвали все тралы... Прием!

Пономарев напрягся в ожидании ответа. Чтобы как-то скрыть свое состояние, завертелся туда-сюда на кресле-вертушке. Вроде баюкает себя, а сам затаился, весь настороже, как бы не пропустить ни звука.

А Одессит промолчал... И на связь уже вышел капитан другого судна.

— Что ж, дело его, — расслабившись и перестав качаться, произнес Пономарев задумчиво.

И все, кто находился в радиорубке, переглянулись: «О чем это он?»

Это было на вечернем капчase. А на следующий день я услышал вкрадчивый голос с «Мыса Егорова». Видно, говорил вахтенный штурман.

— «Ключевской»! «Мысу Егорова». Ответь, пожалуйста, «Егорову»! Прием.

— Я — «Ключевской»! Слушаю внимательно «Егорова».

— Нарисуйте подробнее, как тралите. Каким курсом ходите. Сколько травите ваеров. В каком месте сажаете трал. Характер записи, ход и все остальное.

Это что еще за дипломатический трюк? Анатолий Андреевич Пономарев передергивает плечами, но в далеко загнутых вверх уголках его губ предательски обозначилось торжество. И в глазах отблески ликования. Чувствуется, пытается он скрыть, приглушить какие-то постыдные чувства, а они прут наружу неудержимо. Вопреки разуму прут.

Любопытство мое накаляется. Но вторгаться в чужую тайну неловко. И я не лезу к Пономареву с вопросами. Пробую догадаться сам. Хватаю бинокль и бегу на верхний мостик. Оттуда хороший круговой обзор.

«Значит, так, — рассуждаю про себя, всматриваясь в доступные для прочтения названия судов на бортах. — Наверное, «Ключевской» и «Мыс Егорова» отбились от

нашей группы и парой работают на какой-то другой банке. Поэтому вполне логично, что штурман с «Егорова» обращается к «Ключевскому». К кому же ему еще обращаться, как не к нему?

А если... Что за чертовщина?! Нашим же курсом, параллельно с нами, и вот он, совсем рядом идет... Точно, он, «Мыс Егорова»? И не видно поблизости «Ключевского»?!

Спускаюсь вниз и — на ходовой мостик.

— Не улавливаю смысла игры, — говорю вслух, ни к кому не обращаясь. — Он бы мог пригласить «Ключевского» перейти на другой канал и спросить все, что ему нужно. Вместо этого — шпарит в открытую, в явном расчете на то, что его слышит «Сероглазка». Почему? Разве там не знают, что «Ключевского» самого только что вытащили из беды? Не могут не знать.

На последних капчасах начальник экспедиции стал подчеркнуто называть «Сероглазку» «школой передового опыта». И, как пример, приводил историю с «Ключевским», который отставал безнадежно, пока шефство над ним не взяли сероглазки.

— Зачем же тогда обращаться к нему, ученику, а не сразу к нам. Значит...

— Значит, знает кошка, чье мясо съела, — продолжает Анатолий Андреевич. — И в этом весь секрет.

Коля Курдюков понимающе «гакает» и на всякий случай прячет голову в резиновый обшлаг фишлупы. Там надежнее, не переборщишь. Белозубо улыбается догадливый Гуйдя. Начинаю догадываться теперь и я...

— Выходит, какие-то старые счеты?

— Не совсем так, — качает головой Пономарев. — Стесняется признаться по-честному в долгах.

Ну теперь-то для меня все стало ясно. С потрохами выдал себя своей «стеснительностью» этот Одессит.

Я, заинтригованный, смотрю на Пономарева, предчувствуя скорую развязку.

— Чего ждете от меня? Ничего интересного... Гаденькая история. Ну бог с ним. Как говорят, кто старое помянет... Сейчас-то чего ловчить? Круги делает, намеки строит... Рубил бы прямо: худо, братцы. Так нет же... Хм, артисты! У нас на веревочке ходят, а у «Ключевского» дорогу спрашивают.

Нас словно подслушивали. Не успел Пономарев закончить, как, подозрительно долго похрипев, робко заговорил эфир.

— «Сероглазка»? Ответьте «Мысу Егорова»!

— «Сероглазка» слушает «Егорова», — отвечает Курдюков и в то же время глазами ест капитана: дальше-то говорить что? Анатолий Андреевич водит перед глазами растопыренной пятерней: не волнуйся-де и не спеши, послушай, что скажут.

А там тоже, видно, не решаются, медлят.

— «Сероглазка»? До нас когда-нибудь дойдет очередь? — И уже с придыханием: — Можно надеяться?

Тут Курдюков совсем растерялся. Уставился на капитана, а трубку ладонью зажал, будто по тому, как он дышал в нее, на «Мысе Егорова» могли отгадать, что он сейчас делает, о чем думает.

«Тоже мне... провокатор, — мысленно ругал он своего коллегу. — Какой же штурман может ответить на такое? Только капитан может. Знал об этом, а специально задавал», — злился Курдюков, ожидая, какой ответ подскажет капитан.

Но тот сам подошел к переговорному устройству:

— «Егоров»! Пономарев говорит. Добрый день! Насчет очереди. По голосам угадываю — много знакомых на вашем судне. — Сделал паузу. — Приходилось раньше иметь с ними дело. Так что на правах старых знакомых можно было бы и без очереди...

Умолк. Отвел руку с трубкой подальше от лица. Прикусил нижнюю губу. Затаился. В глазах все то же трудноскрываемое торжество.

Теперь, как и предвидел Пономарев, заминка произошла там, на ходовом мостике «Мыса Егорова». Сейчас там тоже советовались. «Конечно, поняли, каких «старых знакомых» я имел в виду. И что имел в виду... Ничего, пусть подергаются», — пело в груди Пономарева.

— Спасибо, Анатолий Андреевич! — ответили с «Егорова» после явной затяжки. И столько смысловых оттенков было в этом слове благодарности. Рассчитанных на многих. На другие суда, на тех, кто сейчас на мостике «Сероглазки», и на Пономарева отдельно. Главным образом на него: «Что ж, и на том спасибо. Не можешь, значит, простить».

— Да чего они?! — неправильно истолковав смысл, пробурчал Пономарев. И тут же внес определенность: — Словом, так. Швартуйтесь после захода солнца. В это время все равно рыба плохо ловится. Прием!

— Вас поняли.

А еще через час с «Мыса Егорова» запросили у «Сероглазки» траловую доску. Взаимообразно.

— Заявка на берег дана. С приходом судна из порта вернем. Пообрывались, работать уже не с чем.

В этой просьбе Пономарев заподозрил большее. «Лишний раз хотят убедиться, не покупаем ли мы их. Можно ведь на борт пригласить, все секреты вроде напоказ выставить. И так запутать все — концов потом не найдут... Вот и проверяют нас... Надо успокоить».

Пономарев под недоуменный взгляд заглянувшего на мостик Чекутова пообещал одолжить и доску.

— Кому? Этому-то... Да вы что, Анатолий Андреевич?! — рванул было, воспламеняясь, к двери старпом, и рубашка на его спине вздыбилась, как горб у кошки при обороне. Застопорил у двери, развернулся и назад. Из глаз искры. Ключья волос торчком во все стороны. — Они нам...

— Ладно... Охолонь, — остановил его капитан. — Команда-то при чем? Почти сто человек... Ни слухом, ни духом ничего не знают, что было меж нами.

При этом Анатолий Андреевич, как мне показалось, скосил глаза в мою сторону, о чем-то напомнил Чекутову, и, тот, поняв, прикусил язык. Далось ему это трудно, и поэтому он с каким-то нечленораздельным ворчанием покинул мостик.

«Мыс Егорова» пришвартовался к нам поздно вечером. Момент швартовки я прозевал. Выбежал на ботдек. С кормы уже начали вирать на соседний траулер доску.

Заглянул на мостик. В полутьме только рулевой... Зато в штурманской людей битком. И свои, и гости. Парни молодые, такие же, как наши, сероглазкинские, штурманы. Вертят в руках эхолотные ленты, всматриваются в каждый зубчик, запоминают. И в блокнотах делают пометки.

Один из парней с заметной поспешностью, словно боялся, что его в любую минуту могут остановить, перерисовывал карту. Ту самую...

Много раз мне приходилось наблюдать, с каким благоговением и сам капитан, и штурманы относились к этому небольшому, в половину газетной страницы, листу бумаги. Бережно, как что-то очень хрупкое, извлекали его из ящика штурманского стола. И так же осторожно разворачивали. А развернув и пристроив на столе, поглаживали потертые от частого употребления на сгибах места карты с такой трепетно-опасливой нежностью, с какой, впервые прикоснувшись, гладят волосы на голове любимой.

Это, понятно, интриговало. И я совал свой нос туда же, в карту. На ней заштрихованные контуры банок, а точнее — вершин подводных исполинов. Разных по конфигурации. Со всех сторон пронзают их стрелы. Разноцветные. Один цвет

обозначает безопасность проходов по банкам, другой — напоминает об осторожности, третий и вовсе предупреждает: здесь не ходить! И рядом с каждой стрелкой цифры: курсы заходов на траления, самих тралений.

Спрашивал про ценность этой густо исчерченной бумаги. И все, к кому адресовался с этим вопросом, удивленно таращили на меня глаза.

— Да вы что, всерьез, что ли? Вдумайтесь, это же такая сила! А знаете, сколько за каждой этой стрелкой кроется? Нервы... риск... прогары... открытия. По секрету — это ключи от гавайских банок! Понимаете, «ключи»! — внушали мне.

После таких объяснений, не лишенных налета таинственности, я смотрел уже на эту карту по меньшей мере, как на карту капитана Флинта из «Острова сокровищ». И каждая стрелка, каждая цифра, любой штрих на ней приобретали для меня свой особый смысл. Несколько раз они мне виделись даже во сне. Такие трагедии из-за нее разыгрывались в кошмарных сновидениях. Только вместо пиратов, как это часто бывает во сне, снились знакомые капитаны.

И вдруг после всего этого — чужой парень, с чужого судна перерисовывает карту? Ключ к сокровищам?! На глазах человека, сумевшего за многие годы проникнуть в тайны этих сокровищ и стать ревностным обладателем бесценной карты?!

Да, Пономарев тоже находился в штурманской. Сидел смиренхонько в уголке у окошка, на стареньком диване. Обивка на нем давно уже вытерлась и настолько утратила свою первоначальную расцветку, что и старожилы судна уже не могут вспомнить, какой она была внове. Остряками повибрировали кругом пружины. Стоило кому-то присесть на него, и он отзывался неприятным дребезжанием.

Рядом с Анатолием Андреевичем пристроилась вислопузая судовая дворняга. Капитан забавлялся с псом. Водил пальцем у самого его носа, и тот с незлобным урчанием пытался схватить его. Создавалось впечатление, что, кроме этого занятия, Пономарева ничего абсолютно не интересует. Мне даже немножко обидно стало за него, как можно быть таким беспечным.

Артист! Он играл в беспечность: мне-то, мол, что, смотрите, берите, что вам надо, коль пришли. На самом деле он весь был настороже. Стоило кому-то из гостей переступить грань, вторгнуться в заповедную область промысловой кухни, куда Пономарев и своих-то не всегда впускал, как он неожиданно для всех откликнулся репликой или хлестким замечанием. В это время капитан забывал про пса, и тот, поймав, наконец, палец, долго мусолил его, недоумевая: чего это он стал таким податливым? Потому и совсем утрачивал всякий интерес к игре.

А Пономареву все труднее и труднее приходилось сдерживать себя.

— Кажется, за работу в этом районе, я имею в виду — на пристипоме, ваш капитан орден отхватил? — спросил он у гостей. И тут же насмешливая улыбка прояснила, к чему это все: — Как же он сейчас-то, а?

Штурманская отозвалась молчанием.

И это молчание еще больше задело Пономарева: «Ага, набрали в рот воды? Ну, а на это что скажете?»

— Может, кто работал вместе с ним в тот самый год... Помните?

Но не назвал, в какой. Испытывающе переводил взгляд с одного гостя на другого, и парни отводили глаза или начинали что-то пристально рассматривать под ногами. Догадываясь, о чем идет речь, неловко чувствовали себя и свои, сероглазкинские. В штурманскую, и без того душную от скопления людей, вторглась атмосфера настороженности...

И первым задохнулся в этой атмосфере Пономарев. Скрипнул под ним диван. Заерзал капитан. Досадливо скривились губы, заморщился лоб.

«И чего я к ним прилип как банный лист... К пацанам... Пригласил и теперь выговариваю. Ну и натура, чтоб ее...»

Задетый невниманием к себе, громко затыкал избалованный постоянными ласками парней пес. И внес разрядку.

— Ну как, во всем разобрались? — Еще не успев перестроиться, с какой-то поддельной участливостью спросил у гостей Пономарев. — Смотрите, а то, может, послать к вам нашего штурмана?

— Попробуем сначала сами, — ответил один из них. — Теперь вроде ясно, где мы мазали.

— Смотрите, смотрите, — все с той же наигранной доброжелательностью повторился капитан.

— Спасибо!

Штурманы ушли к себе на борт. А через некоторое время появился у нас и он, капитан «Мыса Егорова».

«Понятно, — отметил я про себя. — Разведка доложила — первое напряжение снято, можно теперь встречаться и на высшем уровне...»

Одессит оказался примерно таким, каким я его и представлял. Лицо из бронзы отлито. Худощавое, мужественное. Нос с горбинкой, орлиный. Пронзительные глаза под густыми метелками бровей. Вошел, кинул осторожно взгляд на одного, другого, и каждый из нас сразу ощутил власть этого человека. Никакой удрученности неудачами.

Только насчет роста не угадал. Штурманская сразу показалась мне низкой, придавленной. Он и входил в нее, согнувшись, боясь стукнуться о дверную притолоку. А выпрямился — стояком подволоку подпер. Жилистый, стройный и... самоуверенный.

— Может, пройдем к тебе? — покосившись на нас, пробасил со знакомой хрипотцой.

Прихлопнув ладонью по портфелю, подмигнул многозначительно:

— Из старых запасов сохранилось кое-что...

Прошли втроем в каюту капитана. Гость извлек из портфеля бутылку коньяка и эффектно, как это у него получалось все остальное, до самого незначительного жеста, водрузил ее, не выставил, а именно водрузил на стол. Пономареву даже немного не по себе стало от этого торжественно-великодушного жеста.

— А у меня только белая да спирту немного осталось, — сказал так, будто оправдывался. — Мне-то все равно, какой там питок из меня...

Выпили. От влажной духоты язык к небу приклеился. Мы с Пономаревым хоть одеты по-домашнему — легкие сорочки нараспашку и пупы наружу. Хуже гостю. При полной форме. И потом, сразу видно — и в этом деле слабины себе не дает. Всех нас мамы одинаково голенькими родили, а вот выглядим мы, кто как о себе позаботится. Одессит блюл внешность и этикет. Только верхнюю пуговицу на сорочке расстегнул. Что до увальневатого Пономарева, то ему на эти стороны жизни было наплевать.

— Слушай, как долго ты на этой посудине уже мучаешься? — заметил гость, отдуваясь. — Сколько помню по работе здесь — все на ней и на ней. На севере, в Беринговом, еще куда ни шло, а тут...

Крутнул головой.

— Тут старые пароходы-душегубки. Эффектно, в один глоток, опрокинул рюмку.

— А я сказал — хватит! — как бы к месту заметил, небрежно, двумя пальцами, отодвигая от себя пустую рюмку. — Пусть сами, как и мы, через это пройдут. А то им все достается легко. Смотришь, каких-то четыре-пять лет назад на руле у тебя после мореходки стоял, и уже — капитан. И пароход ему с иголочки. Прямо с перегона. Новейшей серии.

Кивнул в окошко на прижавшийся к нашему борту траулер:

— Дали вот и мне новый. Благодать! Кондишен... Хоть потом не исходим.

У молчавшего все время Пономарева дрогнули уголки губ, поползли вверх. Зависть, что ли, шевельнулась, а может, хвастовство гостя каким-то краешком задело. «Вот сейчас возьмет и выдаст», — подумалось.

Но вместо этого Пономарев, морщась, размеренно потянулся рукой к усеянному пупырышками пота лбу, смахнул их тыльной стороной ладони и, так же изнемогая от духоты, стал растирать влажную грудь.

— Новый пароход — это хорошо, — выдохнул он. — И кондишен... А тут ломом в один борт кинь, из другого выскочит. Подшаманят на заводе, дырки позакрасят, наведут лоск, и вроде еще на что-то похож пароход. А копии глубже — трухла. Те же трюма взять — холод не держат.

«Вот тебе и выдал?! Чего перед ним разнылся-то? — кольнула злость на Пономарева. — Он к тебе на поклон, можно сказать, пришел, а ты...»

— Насчет морозки вообще мой пароход — клад, — подхватил гость. — До минус тридцати держать у нас можно холод.

И снова, как в первый раз, не скрывая гордости, кивнул он за окно, на свой траулер.

— Скорость, морозка, быт — все нормально. Вот только рыбка была бы, рыбка! — И он, зажав пальцы правой руки в кулак, с силой саданул им в подставленную щитом ладонь. С таким же усердием провернул его, вкладывая в это усилие, кажется, всего себя, помогая при этом сцепленными зубами, полыхающим затаенной решимостью взглядом и даже сбежавшимися от напряжения в складки морщинами на лбу. Словно одним этим поворотом хотел продырявить ладонь насквозь.

— Вот та-ак надо рыбки! — нажимно повторил он.

И снова дернулись, заходили губы у разомлевшего от выпитого и духоты Пономарева. Только на этот раз совсем по-другому. Недобро, злорадствующе улыбнулся.

— Туговато, значит, ныне с рыбкой, — протянул неопределенно. — И новые пароходы не помогают...

Одессит уловил в этом отдаленный намек. Испытываясь стрельнул в Пономарева из-под нахмуренных бровей, насторожился. Я тоже. «Ну, сейчас, — думаю, — должны, наконец, объясниться... К чему-то же недвусмысленно намекнул тогда Пономарев насчет грязненькой истории? И потом это странное поведение «Мыса Егорова». Какие-то недомолвки... Виноватая стеснительность парней в штурманской... Вспышка Чекутова... И этот вот визит? Тоже не без умысла...»

Зря я ожидал развязки.

— Слушай, что-то я не помню, когда ты обкатал эти банки? — убедившись, что Пономарев не настроен агрессивно, спросил Одессит.

— Да было как-то. Домой уже бежали. И напоролся. Походили, дорвали последний трал. Не жалко, все равно домой, говорю, шли. Зато засекли, на карту занесли. Да они не такие уже и сложные, эти банки. Просто вы еще не пристрелялись как следует. Вон как горели «Ключевской» и другие. Сейчас нормально и у них. Походит с вами мой штурман сутки-двое, и все на место станет.

— Ну-у, даешь штурмана? — уточнил Одессит.

— А почему бы нет? — сказал Пономарев как о чем-то само собой разумеющемся.

— Спасибо-о! — произнес прочувствованно Одессит. Непохоже показалось, что это он мог так. Как-то не вязалось это с его характером. Внешность — и та противоречила. А голос его. Но и в нем вроде хрипоты чуть прибавилось, только приглушенной она прозвучала, мягче, будто после простуды отпарили ее. Он сам, видно, это почувствовал — размяк. Нахмурился, злясь на себя.

— Может, вам чего надо — пожалуйста, — прикрякнув, окончательно прогнал он минутную расслабленность. — Из продуктов, скажем... Масла, например, у нас навалом. Можем поделиться.

Налил стопку. Поднял, но не выпил. Призадумался.

— Смотрю, мои соколики приуныли. Ходят — посапывают. Такая интересная публика, — улыбнулся жестко, рассматривая содержимое рюмки. — Идет рыба, тысячи

подсчитывают и легенды про капитана сочиняют. А нет рыбы... И еще оттуда пресс, сверху.

— С командой еще ладно. Знаю, как с ней, — продолжал он. — И рейс впереди, надежда не утрачена. А начальству отдай сегодня. И завтра... И каждые сутки. Попробуй ему объясни. Да еще по эфиру?! Да на таком удалении. Один у них там на берегу аргумент. Им как обухом по голове: «А как же ловят другие?» Сразу немеешь. Честно, не знаю, как бы все дальше пошло бы, если б... Слушай, может, теперь с твоей легкой руки пойдет, а? Так что не стесняйся, если что тебе надо. Обязан... Во как обязан!

— Из порта же недавно. Все есть, — отмахнулся Пономарев вяло. — Да, вот еще что. Возьми на всякий случай и моего старшего тралмастера. Пристреляетесь быстрее.

— Слушай, ты меня так доконаешь! Никогда не расплачусь с тобой, — пытался отшутиться. А получилось что-то непонятное. В голосе та же предательски-размягченная хрипотца. И глаза не слушаются, в сторону косят. И смятение так и прет из него. Пономарев чувствует это, и самому становится неловко.

— Я, наверное, пойду? — роняет гость. — Душно, даже это без смака пьется. Кривит губы.

— Ну, да ладно, — подводит итог каким-то своим мыслям. — Будем. — И одним глотком опрокидывает рюмку.

Пошли проводить его. У провисшего над сеткой, между бортами траулеров, штурмтрапа Одессит задерживается. Тянет руку:

— Еще раз спасибо! Мнется.

— В общем... сам понимаешь, — говорит, стараясь не смотреть в глаза.

— Да чего там, — так же смущенно тянет Пономарев и тоже отводит взгляд...

Нетерпеливо выжидаю, когда Одессит переберется на свое судно. И когда он, прощально помахав рукой, зашагал вдоль борта на мостик, спросил у Анатолия Андреевича:

— Ну и что?

— Не понял? — уставился он на меня.

— Не хотели меня, что ли, посвящать в свои взаимоотношения?

— Вон о чем! Какие там взаимоотношения. Сподличал когда-то и мнется теперь. Признаться вслух — гордость не позволяет. А все равно об этом все знают...

И Пономарев рассказал, как все это было.

...«Сероглазки» тогда заканчивался рейс. Оставалось каких-то полмесяца работы. Самых трудных. Все на пределе. Техника, нервы людей. И рабочий добротный трал на борту последний... На банке «Экватор» засели. Зацеп крепенький. И, как назло, погода задурила. Ветер — семь баллов. При такой погоде сниматься с зацепа не дай бог.

Когда на борту запасные тралы — легче дышится. И решительности больше. Надоест дергаться, и: а-а, была не была! Тут же нельзя рисковать. Тут только один выход — сняться с зацепа! Пусть трал вдребезги, а все равно сняться. Потом можно наброситься толпой и починить трал.

Час ходит «Серсглазка» взад-вперед, ищет слабинку. Второй ходит... На мостике все штурманы и капитан. И нервы у всех в струнку, как ваера в тот самый момент, когда «Сероглазка» в очередной раз пробует оторвать трал от скалы. А тут еще кто-то вышел на крыло мостика и увидел — по корме идет траулер. Уточнили по рации, что за судно. Оказалось — «Веневитинов» с тралом. Предупредили.

— Сидим на зацепе. Отверни круче.

— Понял. Должен пройти, не задеть.

Пономарев и его штурманы перешли на кормовой мостик. Наблюдают за «Веневитиновым», переживают, как бы на ваера не напоролся. А тот повел себя вдруг подозрительно. Врубил, чувствуется, полный ход и попер. Только и успел Пономарев забежать в рубку, крикнуть:

— Куда вас несет! Ваера же...

Поздно. Вздогнул корпус. Будто кто-то цепко держал судно, потом отпустил. Утратили свою упругость ваера. Глянул на них Пономарев, и все ему стало ясно.

— Отловились, — процедил он.

Вытащили «хвостики» ваеров. Пономарев спустился на промысловую площадку. Он еще до конца не верил в то, что это мог сделать «Веневитинов». А вдруг оборвали сами? Зачем-то поднял с палубы концы ваеров. Долго их рассматривал...

А через несколько минут по судовой трансляции объявили:

— Тралмастерам и свободным от вахт штурманам собраться в каюте капитана.

Сходились, как на поминки. Молча переглядывались. Никто не решался заговорить первым.

— Положение такое, — сказал капитан. — Возможно, у кого-то и удастся одолжить трал. Хотя... у кого при таких «кочках» они могут быть лишними? Словом, будем искать. А пока выход вижу один: из старья попробовать выкроить трал. Из нескольких порванных, — уточнил. — Чего не хватит из вооружения — можно на других судах попросить. Так будет проще. Целый трал никто не даст, а по мелочам — не откажут. Особенно они...

Замаялся. Помассажировал большим и указательным пальцами кончик носа. Но решение от этого окончательно не пришло. Рука потянулась к мочке уха, как всегда успевшей запунцоветь от внутреннего волнения. Потискал ее, подталкивая себя на какой-то важный шаг.

— В общем так, — решил, наконец, — чуть попритихнет ветер — надо спускать бот — и на «Веневитинов». Надо сказать им: «Раз уж неладно получилось, братцы, выручите, чем можно. Возможно, ваера лишние найдутся... Или дель, кухтыли, кутец... Что есть. И на этом в расчете, мол».

Пономарев замолк. Исподлобья глянул на подчиненных: какую, интересно, вызвало его предложение реакцию? Сказанное показалось для всех неожиданным. «Что-то тут не так, — читалось на лицах ребят. — Они нам свинью подложили, и мы же к ним с прогибом и с протянутой рукой».

— Гм, — крутнул несогласно головой штурман Носич и, еще ничего не сказав, выразил общее настроение...

— Я вже согласен был бы пойти (так он и не смог преодолеть своего западноукраинского «вжеканыя», сколько ни пытались его отучить на судне). — Но как им докажешь, что это они оборвали?! Отопрутся да еще и гон дадут с траулера. Скажут: «Вы что на нас бочку катите?»

И все разом зашумели: «А в самом деле, как докажешь?!»

Губы Пономарева растянулись в довольной улыбке. Поводил перед собой ладонью: тише, мол.

— Об этом я побеспокоился, — сказал, когда все примолкли. — Кто поедет на «Веневитинов», захватит с собой кусочки ваеров. Мною дана команда отрубить концы. Там все-е видно. По характеру разрыва видно: перерублено или оторвано?

Представителей «Сероглазки» на «Веневитинове» встретили так, будто на судне никто и не слышал о случившемся. Гости рассказывали, а хозяева делали удивленные глаза. Капитан в ходовую рубку совсем не вышел. Но его присутствие ощущалось во всем. Отрепетированно проигрывалась его версия: «Сами оборвались, а пытаетесь обвинить дядю». А некоторые даже выражали благородное возмущение: дескать, как можно об этом было подумать?

И тогда гости вынуждены были предъявить, как говорят, вещественные доказательства. К этому, видно, на «Веневитинове» не были готовы. Куски ваеров передавались из рук в руки. Передавались молча. Одни застенчиво улыбались, другие нервно пожимали плечами: «Ну и что, мол, из этого? Такое можно-де только экспертизой доказать». И все равно по тому, как вели себя первые, было видно —

виноватыми они себя чувствуют. А вот вину признать не могут. Не властны они признавать такое...

И всем находящимся в рубке — и гостям, и хозяевам — было понятно, почему не властны...

Закончился разговор совсем некрасиво:

— Если бы мы в самом деле были виноваты — куда деваться. От себя бы оторвали последнее, а вам отдали. А так, сами понимаете... Щепетильное положение. Помочь вам — это равносильно тому, что мы берем на себя грех...

Так ни с чем и покинули борт «Веневитинова».

Прошло несколько лет. И вот этот случай...

...Я долго осмысливал рассказанное Пономаревым. Отдельные моменты противоречили здравому смыслу.

— Ну хорошо, — стал рассуждать вслух при Анатолии Андреевиче. — Допускаю, что ваера перерубил «Веневитинов», хотя это действительно труднодоказуемо. Находились-то они под водой? И неизвестно, на какой глубине?! Смог ли он достать их килем? И все-таки условимся, что сделал это он. Можно объяснить и нежелание капитана «Веневитинова» признаться в этом. Потом... не со злым же умыслом это было сделано? Надеялись, проскочат, и не подраосчитали...

Пономарев слушал меня и замысловато улыбался.

— Что, может, не то говорю?

— Плохо вы знаете Одессита, — заметил он.

— Тогда напрашивается другой вопрос: какой смысл ему было это делать?

— Гм, какой смысл. Самый обыкновенный. Кинуть меня хотел. Только и всего.

— Как это — кинуть?

— А так, через себя, — объяснил просто. — Что-то вроде соревнования между нами велось. Негласно, конечно. Вровень мы с ним шли. Тут он и решил кинуть. Все равно, сами же говорите, не докажешь... Теперь вот прижало хвост, а к нам обращаться неудобно.

Кажется, все прояснилось, стало на свои места. Кроме одного... Мысленно я заново пробежал всю эту историю, вспомнил до мельчайших подробностей, как скованно вели себя парни с «Егорова» в штурманской, как зашел туда он, натянутость в разговоре в каюте Пономарева... Логическая цепочка снова обрывалась в самом конце.

— Непонятно тогда, Анатолий Андреевич, к чему все эти жесты? Тем более, что вы убеждены — ваера обрубил он намеренно?

— Какие жесты?

— Как какие? Траловая доска нужна — пожалуйста! Эхолотные ленты, карта — смотрите, перерисовывайте! И вдобавок — бери на борт штурмана, тралмастера... Что вы этим хотели сказать?

— Что? — растерянно посмотрел на меня Пономарев. Засучил на месте ногами. Видно было, что он и сам еще не знает, почему поступил так, а не иначе, скорее, действовал совершенно неосознанно. Но надо было хоть как-то, хоть сейчас объяснить свои поступки. И он искал это объяснение.

— А чего расхвастался! — наконец выплеснул он в сердцах, с надрывом в голосе. — Пароход у него новый... Кондишен... Ну и забирай все! Бери тралмастера, штурмана бери... Не получится — сам перейду на борт. А то расхвастался, пароход у него новый! На старом пусть попробует... Вот!

Рыбацкая Сероглазка давно уже светилась по-вечернему нарядными окнами, а через проходную то и дело тенями проскальзывали люди и растворялись на обширной колхозной территории. Нет-нет да и вырисовывались на пустынном пирсе силуэты самых нетерпеливых. Поеживаясь от холода, подолгу всматривались они в гирлянды

судовых огней на ночном рейде, пытаюсь угадать, какое же из множества судов — «ихнее».

А оформление прихода траулера «Сероглазка» тягуче задерживалось. В колхозной диспетчерской без конца трещал телефон. Досаждали диспетчеру одним и тем же: «Когда?» Наконец вместе с потрескиванием в помещение ворвался голос Пономарева: «Закончили... Через полчаса буду у пирса». И все пришло в движение. Из разных укрытий, служебных помещений на пирс потянулись люди. Сотни людей! Где они только укрывались? И когда траулер, сбавляя ход, стал приближаться, будоража ночь, грянул оркестр.

Так уж издавна повелось: рыбацкие корабли чаще всего уходят на промысел утром, а возвращаются ночью или днем. Тем более, если рыбалка в рейсе была удачной и можно рассчитывать на теплую встречу, да еще с оркестром, с митингом. Ну, а если не повезло — и темнота за подругу сходит. Прокрадываются в бухту суда-неудачники тихим сапом, словно не по улице, а задворками к дому пробираются.

В этот раз рыбаки «Сероглазки» нарушили правило — пришли утром. Но это не поубавило торжественности и тепла при встрече. Заслужили, ничего не скажешь.

Перекатываются, как волны, нетерпеливые толпы по пирсу. Кто по службе здесь торчит, кого родная кровь позвала, а кого и любовь, выверенная месяцами разлуки.

Я тоже волнуюсь. Хотя никакой пуповиной вроде и не связан с этим событием. Разве что потолкался в начале рейса на «Сероглазке».

Жметса траулер к пирсу, а парни — к фальшборту льнут. Шум, гам поднимается. Кричат сверху — с палубы, кричат снизу — с пирса. Улавливаю, и до меня кто-то пытается докричаться. Задрал голову, всматриваюсь.

— Коза получилась. Под занавес. Представляете? — сложив ладони в рупор, кричал Курдюков. И я понял — мне.

— Точку рисовали под обязательствами. Короче — с последним тралом шли. И — зацепчик. Раскололи, чувствуем, куток. Обидно... А вытащили — порядок! — сияет довольный Курдюков. — Собой закрыл дыру палтус. Палтусина! Агрома-аднейший! Вот такой!

Курдюков выкинул ладонь где-то на уровне глаз. Примерился. И тут же убрал руку. Видно счел, что его рост недостаточно впечатляющий.

— Нет, вот такой! — стрельнул пальцем в пробегающего мимо него Гену Черных.

А вскоре в колхозном Доме культуры праздновали необычный юбилей. Такого сроду на Камчатке не бывало. Заходишь в зал — и вот она, именинница, у всех на глазах. В глубине сцены на голубом, под цвет морской волны, заднике броско выведено: «Сероглазке» — 10 лет». И через весь задник — огромный трал. На нем божественно возлежит Нептун. Всемогущественным ликом своим, всем видом выказывает: он на этом празднике ни при том, ни при сем. Не отнесись, мол, я благосклонно к «Сероглазке», не выдели ее среди других, кто его знает, как все могло обернуться...

В моей памяти оживали картины изнурительных океанских вахт парней с «Сероглазки», застенчиво притаившихся сейчас в зале. А в душе начинало шевелиться раздражение.

Смешно, но меня раздражал возлежащий на трале самонадеянный бородач с трезубцем: при чем тут он?

...Лежит на ладони закопченный слиток...

Иногда, если не капризничает воображение, я даже вижу ее. Прошло десятилетие, но все еще представляю, какая она была, эта загадочная южанка. А вот руку она уже не тяжелит. Как ни насилую воображение, ощутить ее вес не удастся...

А кто родился в семидесятых годах, да еще не в наших дальневосточных краях, как они? Могут же ничего и никогда не узнать про эту рыбеху? Неужто может быть такое?

Район промысла — Петропавловск-Камчатский. Май—июнь 1974 года